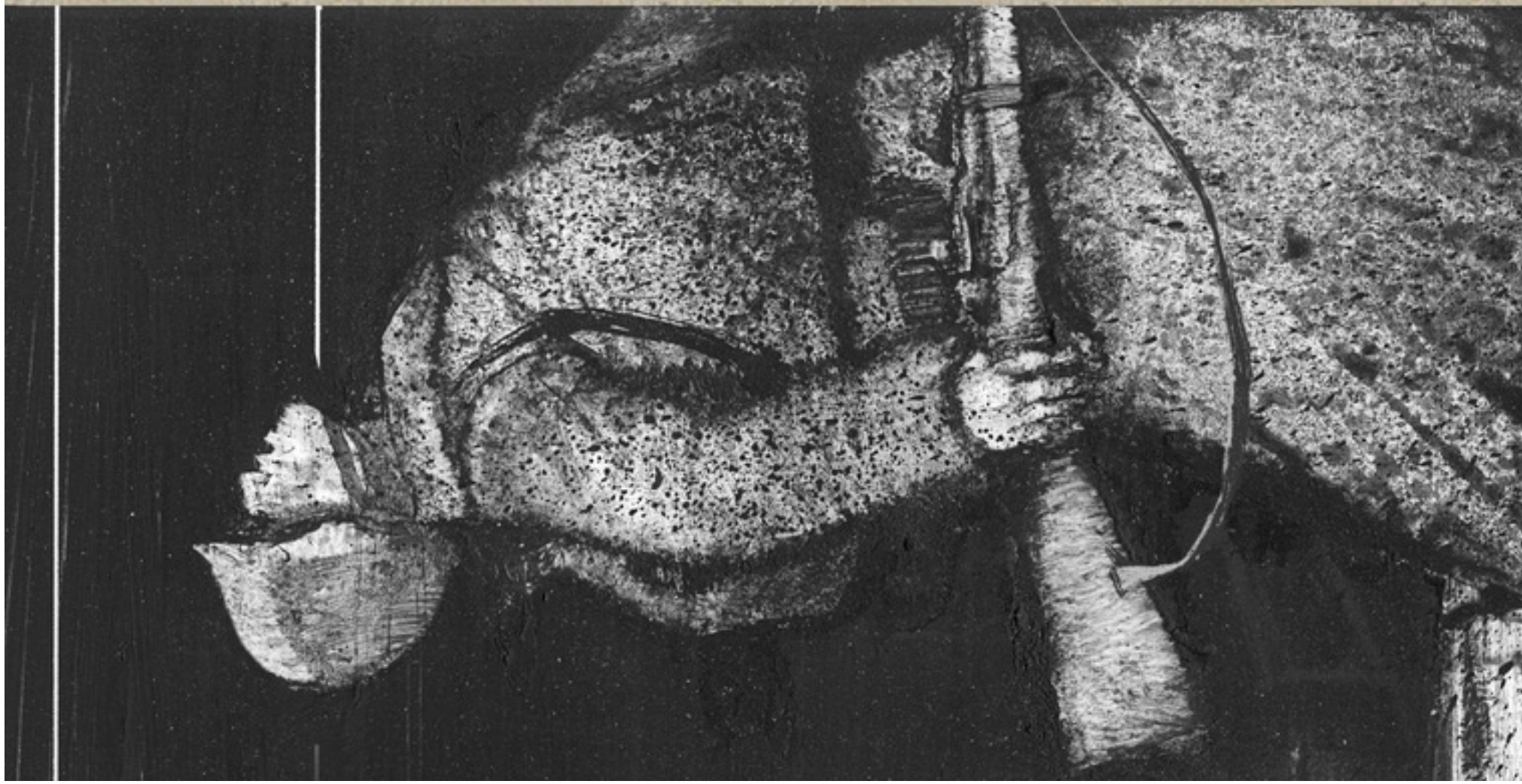
ЭТО МЫ, ГОСПОДИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ-ФРОНТОВИКОВ

ХУДОЖНИ
ИГОРЬ
ОЛЕЙН



Антология

Татьяна Викторовна Стрыгина

Это мы, Господи. Повести и рассказы писателей-фронтовиков

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11311090
Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков / Сост. Т. В. Стрыгина. Худож. И. Ю. Олейников.: Никея; Москва; 2015
ISBN 978-5-91761-423-6

Аннотация

Книга посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все авторы произведений – писатели-фронтовики: Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Повести и рассказы участников войны – о человеке один на один со смертью, когда даже неверующие души вспоминают своего Творца и взывают к Нему. Это дошедшие до нас голоса солдат из окопов, их личный фронтовой опыт.

Для этой книги известный художник Игорь Олейников создал 35 уникальных рисунков. Книга для взрослых с иллюстрациями – прекрасный подарок всем любителям художественной литературы. И прежде всего – подарок для всех, кто хочет знать и не забывать правду о войне.

Содержание

От издательства 4
Даниил Гранин 8
Мой лейтенант 9
Первая бомбежка 9
Жара 11
Разведчик 16
В упор 17
Константин Воробьев 19
Убиты под Москвой 20
Константин Воробьев 55
Это мы, Господи! 56
Глава первая 56
Глава вторая 59
Глава третья 61
Глава четвертая 64
Глава пятая 68
Глава шестая 70
Глава седьмая 74
Глава восьмая 78
Глава девятая 81
Глава десятая 86
Глава одиннадцатая 91
Глава двенадцатая 94
Конец ознакомительного фрагмента. 97

Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р15-501-0007

От издательства

Не от множества войска бывает победа на войне,
но с неба приходит сила.
1 Мак. 3:19

Эта книга посвящена 70-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне. Книга суровая – для взрослых, подарочное издание с замечательными иллюстрациями выдающегося книжного графика Игоря Олейникова.

Все авторы, произведения которых вошли в ее состав, – писатели-фронтовики: Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев. Эти имена в литературе и жизни стали символом мужества, честности, достоинства. Произведения этих писателей открывают пронзительную, неприкрытую и страшную правду, часто не совпадающую с отлакированной картинкой войны – с громкими подвигами, заседаниями в Ставке и победными маршами. Здесь – дошедшие до нас голоса солдат из окопов, их личный фронтовой опыт. Им веришь, они – свидетели суровой правды о войне, неприкрытой, многим неизвестной. Честная и бескомпромиссная позиция писателей, прошедших испытание войной, полностью соответствует призыву А. И. Солженицына: «Жить не по лжи!» Их произведения о войне, документально достоверные, точные в описании географии и времени действия, не стали публицистикой – они среди шедевров русской классической художественной литературы.

Все повести и рассказы этой книги – о человеке в бесчеловечных обстоятельствах войны, о жажде выжить, преодолеть все испытания и уцелеть, остаться в живых и победить – не только врага, но и самого себя. По свидетельству участников войны, в самые страшные фронтовые минуты солдаты вспоминали о Боге и чувствовали Его присутствие. Когда человек остается один на один со смертью, тогда даже неверующие души вспоминают своего Творца и взывают к Нему.

Даниил Гранин тоже пережил такое чувство и написал об этом в повести «Мой лейтенант», главы из которой открывают этот сборник: «Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй! Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных – Господи… помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил – Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого… Бог был здесь…»

Сокровенные переживания и личные впечатления автора, которыми он делится с нами со страниц своих произведений, вызывают у читателя рефлексию – человек переносит переживания героев со страниц книги на самого себя, происходит переосмысление своей жизни или судьбы своих близких. И об этом ярко свидетельствуют читательские письма, например о повести Даниила Гранина «Мой лейтенант»: «Читая эту книгу, я будто встретилась со своим дедом, который погиб в самом начале войны при бомбардировке эшелона, когда он еще только ехал на фронт. И вот я прочитала про это – бомбежка эшелона, идущего на фронт. В чистом поле, где негде спрятаться, неожиданно, самолетами с неба, непуганых новобранцев, у которых и оружия-то никакого еще нет… Ей-богу, это я вжималась в землю от ужаса, переставая дышать и уже заранее умирая от страха. Я встретилась со своим дедом через много лет и поняла, что он испытал в последние минуты своей жизни!..»

В повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» – начало войны, гибнут кремлевские курсанты, весь мир рушится под бомбами, и из грязи, из отчаяния, из смерти возникает первозданное чувство таинственного Замысла о человеке. Курсанты держат оборону в большой и когда-то богатой деревне, и деревенская церковь становится для них и спасительным оплотом, и ориентиром, а в повести – важной метафорой присутствия Божия. И хотя люди отверглись Бога – креста на церкви давно уже нет, но Бог, как Отец, – рядом и ждет своих заблудших сыновей, которые *«избрали новых богов, оттого война у ворот»* (Суд. 5: 8).

Константин Воробьев зимой 1941 года сражался на фронте в составе роты кремлевских курсантов, попал в плен. Ему было тогда 22 года. Прошел через тюрьмы и лагеря на территории Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую группу, влившуюся в литовский партизанский отряд. Повесть «Это мы, Господи!» он написал в тылу врага. Тридцать дней, не отрываясь, писал он о плене, откуда бежал. Пытки, расстрелы, каторжный труд, болезни, голод, побеги… *«Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне – от руки меча»* (Иов 5: 20). Пройдя ад фашистского плена, Воробьев не скрывал своей веры, описывая обнаженное зло войны. Повесть «Это мы, Господи!» была опубликована только в начале перестройки, через десять лет после смерти автора.

Произведения писателя-фронтовика Василя Быкова вызывают горячие споры и очень глубокие размышления. Повесть «Мертвым не больно» была опубликована в белорусском журнале «Молодость» (1965) и в центральном российском журнале «Новый мир» (1966), и хотя оба раза повесть выходила с большой цензурной правкой и сокращениями, в журнале «Огонек» и других появились разгромные статьи о ней. На V съезде Союза писателей Белорусской ССР (1966) повесть подверглась резкой критике как «литературная диверсия». После первой публикации книгу не печатали по-белорусски 17 лет, в русском переводе она не выходила 23 года.

Исследователь творчества Василя Быкова журналист Сергей Шапран восстановил более двухсот правок в тексте повести «Мертвым не больно» и подготовил ее издание без купюр – на белорусском языке, спустя 50 лет после ее написания. И хотя советской цензуры давно уже нет, произведения о войне и по сей день печатаются в подцензурном варианте. Восстановление авторского текста произведений – кропотливая работа, и она все еще ждет своего часа.

Повесть Быкова «Сотников» затрагивает вечные вопросы бытия. Жизнь или смерть – третьего война не дает, – но какой ценой? Что заставляло многих делать слишком страшный выбор, становиться в иной лагерь борьбы? Можно ли быть уверенным, что в схожей ситуации сам не поступил бы еще хуже, не пал бы еще ниже? На многие вопросы действительно трудно ответить, и остается надеяться, что выбор между жизнью и честью нам делать не придется. Повесть «Сотников», несущая свет Евангельской истины, вызвала культурный резонанс: по ее мотивам режиссер Лариса Шепитько сняла художественный фильм «Вос-

хождение» (1976). Сценарист Юрий Клепиков писал после прочтения повести: «Обжигающе философская притча, которая сталкивает высокое духовное начало человека с его понятным стремлением сохранить тело как вместилище духа». Фильм сразу попал под запрет, хотя история о том, как один предает другого, стара как мир.

В эту книгу вошла также повесть Александра Солженицына «Адлиг Швенкиттен». Русский поэт, публицист, искусствовед Юрий Кублановский высоко оценил это произведение: «Маленькая повесть „Адлиг Швенкиттен“ – о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го – настоящий шедевр позднего Солженицына… Бессмысленное, стратегически не мотивированное выдвижение бригады в прусскую ночь, когда штабные отключили от себя связь, расслабившись за горячим ужином, бессмысленная гибель множества лучших солдат и офицеров, сформировавшихся именно в годы войны во всей своей внутренней мужественной самостоятельности, – таков сюжет повести. Но у нее – мнится – гораздо большая глубина. И она – в ощущении обреченности лучшего перед худшим. Чистое проигрывает нечистому, сильное проигрывает корыстному, крупное – мелкому, храброе – опасливому».

Двадцать лет назад, к 50-летию Победы, Александр Солженицын рассказывал в интервью на телевидении: «День Победы в сорок пятом году я, свежевырванный с фронта, арестованный офицер, встречал в тюрьме, в тюрьме Большая Лубянка. И сквозь тюремные решетки наблюдал московский салют Победы. Было гордостно, радостно и горько. Горько – потому что я понимал уже тогда, чего стоила нам эта война.

…Война ведь по-разному видится в истории: для участников и современников – и отдалясь. Нынешнему поколению невозможно себе представить, как не неделями, не месяцами, – четыре года подряд армия шла по минным полям, под пулеметным обстрелом, на колючую проволоку, под бомбежкой сверху, под артиллерийскими и минными разрывами, через переправы, пожары, на плацдармы, и удерживала эти плацдармы. Этого – представить нельзя». В 1952 году в Экибастузском лагере Александр Солженицын написал стихотворение:

Да когда ж я так допуста, дочиста
Все развеял из зерен благих?
Ведь провел же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились – постижными,
Жребий жизни – податлив как воск.
Кровь бурлила – и каждый выполоск
Иноцветно сверкал впереди, —
И без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещен ее каждый излом —
Смысла Вышнего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь возвращенною мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую!

И с отрекшимся был Ты со мной…

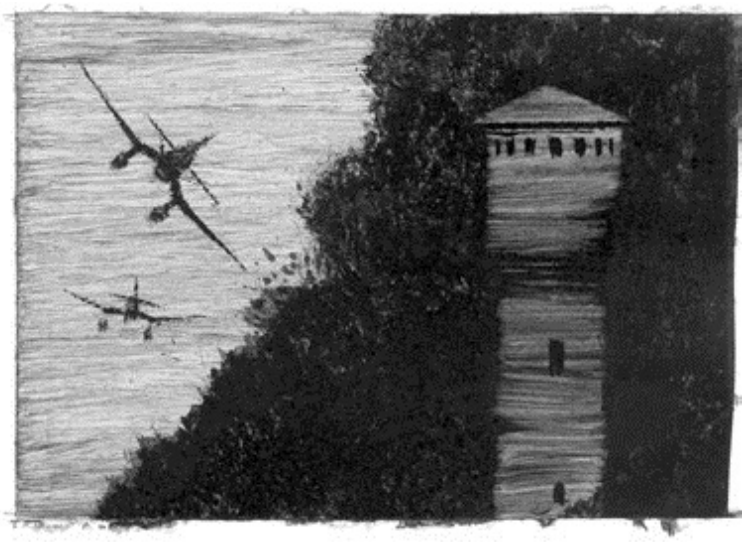
Жизненный путь писателя «между быти и небыти» – это в том числе и война, когда Бог особенно близко: *«Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня»* (Пс. 17: 40).

Сборник завершает рассказ Виктора Астафьева «Мелодия Чайковского» – одно из последних произведений писателя. Молодой солдат-телефонист доведен до полного физического и морального истощения и отчаяния. «„Кто украл мое детство? Кто съел мою юность? Кто гробит и гложет мою молодость?" – захлебываясь слезами, спрашиваю я, неведомо к кому обращаясь». Финал рассказа Астафьева – «про воскресение, про другой, прекрасный мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей, над всеми нами, все вытерпевшими и перестрадавшими».

Александр Солженицын говорил: «Наша Церковь постановила, что навеки день Девятого мая будет днем скорби, днем Памяти погибших за веру и Отечество. Как это правильно, и как это наконец нужно!» А Виктор Астафьев написал в одном из писем: «Я в День Победы пойду в церковь – молиться за убиенных и погубленных во время войны. И Вам советую сделать то же».

Эта книга – о войне. Она – для тех, кто помнит, и тех, кто не хочет забыть. О войне такой, какая она была на самом деле. Книга настолько правдивая, жесткая и пронзительная, что не стоит больше ничего говорить. Ее надо просто читать, чтобы узнать, а как же все это было на самом деле. И не забывать.

Даниил Гранин
(род. 1919)



Мой лейтенант
(Главы из повести)

– Вы пишете про себя?
– Что вы, этого человека уже давно нет.

Первая бомбежка

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтораста от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит – есть секундная передышка. Чтобы отереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

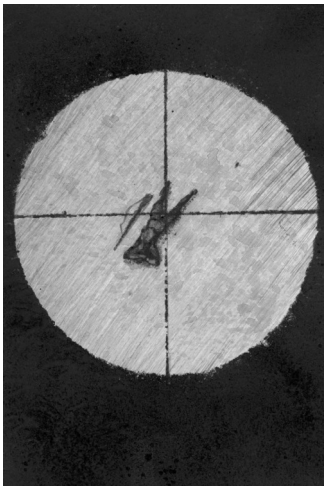
Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: «Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу Тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй!» Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных: «Господи… помилуй!..» В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил: «Господи, защити меня, молю Тебя, ради всего святого…» От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве

шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек…

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

…Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.



Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог – ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка…

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец, мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы, ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремитель-

ное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней, против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «окружили!» – и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику.

Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае, изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

…Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши – тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши – в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

Жара

В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета, с земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шпарил еще треск пулеметов, пули взвизгивали о металл, дырявили землю, я молился, обещал Боженьке верить в Него, всегда и везде, ничего другого я не имел и протягивал Ему свой жалкий дар.

Не стоит осуждать меня, я ничего постыдного не совершил, но в моей жизни эти минуты запомнились презрением к себе, я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня.

Тогда, на станции Батецкой, вся моя двадцатилетняя жизнь стала вдруг небывшей, от нее осталось лишь то, что не состоялось, неосуществленность.

А я думал, что воевать будет легко. В Летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти, кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная, ничего не успел, а меня уже превратили в ничтожество, ничего не осталось, никаких иллюзий, мечтаний, планов, все сгорело. И мое самомнение… Передо мной всегда будет смрад моей трусости. Война воняет мочой.

– Вста-а-ать!..

Меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии.

Губы мои дрожали, по грязному лицу текли слезы.

– Ну что? Живем? – сказал Подрезов.

И оттого, что он сказал это дружески, участливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве: я весь сотрясался, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал.

– Молчать! – крикнул ротный и со всего размаха влепил мне затрещину.

– Товарищ командир! – Подрезов покачал головой.

– Что с ними делать? Что? – закричал Авдеев. – Возись, твою мать! Дерьмо и сопли! На что мне такие? – Он закрыл глаза, задышал глубоко.

Подрезов, высокий, костлявый, приобнял меня, заговорил глухим мерным голосом:

– Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался, тоже ведь впервые.

Обыкновенные слова, запах свежей гимнастерки и свежей кожаной портупеи успокаивали.

– Вы на ротного не обижайтесь. У него четверых убило. Ему роту собирать надо.

Небо, украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно неповрежденное небо. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи, но летний полдень возвращался к своим делам. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать, привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяется, будто ничего не случилось, как женщина – губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день – он обновился, и в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же:

– Ой, возьмите меня! Возьмите меня!

Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним, не отпуская.

– Я не трус, вот увидите.

Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева. Первое, что я получил на войне… Где наши самолеты? Хоть бы один! Шинельная скатка, вещмешок, ремень брезентовый – все перекрутилось, рубаха вылезла, счастье, что я себя не видел, никогда бы не мог забыть это жалкое зрелище. И как я тащился за Подрезовым, лепеча свои оправдания.

Дойдя до машины, Подрезов остановился, его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня, они требовали ответа – откуда немец знал о прибытии эшелона, ведь знал, знал минута в минуту!

– Следили, может, по воздуху, – сказал Подрезов.

– Предатели – вот откуда! Ясное дело. Шпионы… Сколько перестреляли, все мало.

Никто не сомневался: враги народа, измена – понятия известные, ярость повернулась и на органы, – говнюки, каратели, сажали, казнили, а что толку? Не тех стреляли.

– Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят! – По имени-отчеству было привычнее.

На заводе все знали его историю: как посадили в тридцать седьмом, как хлопотали за него, председателя завкома, настойчиво, не считаясь с запретами, и добились – его освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то

ли желая доказать (кому? что? – в те дни это понимали), то ли полагая, что в ополчении он нужнее, дивизии-то фактически еще не было, был порыв, гнев, желание проучить немца.

Ему они могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, а на деле все – брехня!

Отмолчав, Подрезов спросил:

– Будем шпионов искать или будем воевать?

Предательства не отрицал – да, врали, да, обманывали.

– Ничего, разберемся. Сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков, надо драться тем, что есть, – кулаками, зубами, выхода нет. Одолеем, если не оробеем.

Он медленно прошелся взглядом по лицам.

– Другие предложения есть?.. Нет. Вот то-то и оно.

Сел в машину и уехал.

Убитых оказалось немного. Хоронили в братской могиле. По-быстрому – один ров на всех. Туда же – двух железнодорожников. Воткнули жердину, прибили к ней доску. Писать поручили мне.

«Пали в боях за Родину. 1941. Июль. 1 ДНО», и фамилии.

Каких боях, думал я, слюнявя химический карандаш.

В могилу положили чью-то ногу. Оторванную ногу нашли на платформе. Говорили, что это Христофорова, плановика из мартена, его самого не нашли.

Весь день шли проселками сквозь густую желтую пыль. Командиры подгоняли, не говорили, куда идем. Вокруг расстилались поля клевера, серебрился овес. Травы зрели, окутанные сладко-пахучей жарой, лениво шевелились.

Рядом со мной Витя Трубников, инженер из транспортного. Захлебываясь, повторял, как рухнула на него железная крыша. Черничные глазки его безумно блестели. Снова показывал вещмешок, пробитый осколком.

Привала не было. Гимнастерка липла, мокрая от пота. Я задыхался. Скатка тяжелела. Пить не позволяли. Стали выбрасывать противогазы. Оставляли только брезентовые сумки. После полудня я выбросил пухлый свитер. В мешке у меня лежали пачка сахара, банки консервов, торбочка с лекарствами, собранная матерью, бритва, нож, кружка, мыло, трусы, фляга, носки, две книги стихов… С каждым часом это имущество тянуло сильнее к земле.

Ночи настоящей не было, она не принесла прохлады. Наутро стало еще жарче. Трубников вышел из строя, повалился на откос, стащил ботинок, нога была растерта до крови. Я высмотрел подорожник, облепил Трубникову пятку. К нам подсел Новосильцев, журналист многотиражки, перемотать портянки. Никак у него не получалось. Я обмотал ему одну, а потом вторую ногу, чтоб без морщинок, разглаживал пятки, подошву, как когда-то делал мне отец.

– Ловко ты, – сказал Новосильцев, – точно чулок. Вот чему надо было учить, а то – все на политчас! Мудаки! Господи, всему верили.

Колонна растягивалась, ползла, оставляя за собой длинный хвост пыли. Ничего не стоило расстрелять ее сверху.

Адова жарища никак не походила на обычное наше северное лето. Погода и та ополчилась на нас. Чтобы прилечь на песчаную обочину, приходилось расстилать шинель, так все раскалилось… Пыль и та была горячей. Она забивалась в нас, мы выплевывали ее длинным, горьким плевком.

Ротный подбадривал: молодые должны пример показывать, запели бы походную, что-нибудь боевое. Вдруг Трубников запел, тоненько, с вызовом:

День-ночь, день-ночь мы идем по Африке,

День-ночь, день-ночь все по той же Африке.
И только пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.

– Что за песня? – спросил Авдеев. – Такой не знаю.

– Это Киплинг, – сказал я.

Про Киплинга Авдеев не слыхал, Новосильцев охотно пояснил: певец английского империализма.

– При чем тут империализм? – сказал я. – Ты «Маугли» читал?

– Чего там дальше? Давай пой, – сказал ротный.

Дальше Трубников не помнил, а я, удивляясь своей памяти, стал читать хрипло, запершенным голосом:

Я шел сквозь ад шесть недель. И я клянусь:
Там нет ни тьмы, ни жаровен, ни чертей,
Но только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.

Когда ж это было, полвека назад, думалось мне, и ничего не изменилось, та же пыль, та же солдатчина.

– Отдыха нет, это верно, – сказал Авдеев, – война у всех одинакова.

Значит, и Авдеев думал о том же.

Когда Авдеев ушел вперед, Новосильцев сказал Трубникову, что английский империализм тоже воюет, и, между прочим, против немцев.

– Может, ты объяснишь такой поворот? – спросил он у меня.

Мой друг, можешь ты меня не ждать…

– отвечал я в такт своим шагам. —

Я забыл здесь, как зовут родную мать.
Здесь только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
И отдыха нет на войне солдату.

Деревня называлась Самокража. Странное это название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей, командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась, рыли ее так и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти.

Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало, ротный заставлял копать хоть ложками. Новосильцев смотался в деревню, принес несколько больших лопат. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса, откуда силы брались?! Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь.

К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курево, выменивали на водку остатки своего оружия. Солдат, у которого я за махру сторговал семизарядную винтовку, сунул мои три желтенькие пачки в сумку, набитую морковкой, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. Тут же бесцеремонно заглянул мне в вещмешок, цапнул оттуда синюю жестянку, открыл, расхохотался: зубной порошок! Я покраснел, вспомнив свою привычку чистить утром зубы. В отместку я принялся с ехидцей спрашивать, как они, кадровые, драпали, – от самой границы? Оказывается, красноармеец и немцев по-настоящему

не видел. Вояки! Слушая его, я исполнился пренебрежением к его кадровой бригаде, ныне скорее похожей на толпу беженцев, кожаные свои ремни и те они сменили на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик.

Солдат закрутил махру в длинную цигарку, поджег, блаженно затянулся и пояснил по-отечески, что невозможно воевать без отступа, – соображение, которое не приходило мне в голову. «Ни шагу назад» – только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя, бежать – он догонит, он на машинах, с ним маневр необходим, в маневре надо где зацепиться, где в сторонке схорониться, можно и поспешать, только чтобы своих не терять.

– Оружие мы не побросали, видишь, вашего брата обеспечили…

Ополченцы обзавелись гранатами, выменяли пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог.

Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают? «На переформирование, убыль большая». Выходит, теперь весь удар примет на себя ополчение.

Вечером ротный ходил по взводам, повторяя, что вся надежда на нас, впереди никого. Я не преминул спросить: как так? «Красная армия всех сильней», так пусть же Красная сжимает властно свой штык…

– Спеть все можно, – сказал Авдеев, – кончай подъелдыкивать.

Сам ротный приобрел пистолет, кое у кого появились автоматы и даже один превосходный бинокль, который был реквизирован для командира полка.

Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала, как будто что-то катилось со всех мест, весь горизонт, вся впереди лежащая даль скрежетала, ухая и рыча, приближалась к ротным порядкам. Там, впереди, еще золотились ржаные поля, стояла роща, скользили тени облаков…

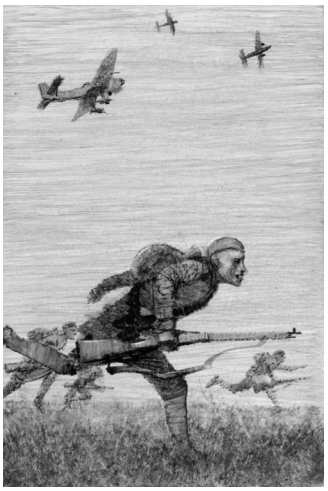
Невидимое сражение близилось, это была война, которую я еще не видел, беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться.

Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали взахлеб пулеметным огнем, загибали все круче, в сторону, не обращая внимания на авдеевскую роту.

«Обходят!» – этот крик покатился по окопам. Я, не целясь, выстрелил. Кто первый побежал – неизвестно, я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона: оказывается, там тянулся неглубокий ров, превращенный в окопы.

Мы пробежали почти километр. Ротный пытался остановить нас, матерился, размахивал гранатой. Заставил вынести два станковых пулемета, главное стрелковое имущество роты. Один пулемет тащил на себе Виктор. Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогло мне, так это то, что так вели себя кругом другие: бежал я вместе со всеми, как и другие, не поднимая головы при бомбежке.

Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: «Под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее приготовленные позиции». От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле, мчался, словно по пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся, смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного за другим. Помнится, передо мной появился начштаба батальона, схватил кого-то за гимнастерку, боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом, и кто-то другой толкнул меня так, что я свалился.



К вечеру выяснилось, что три немецких броневика удалось подорвать, оказывается, третья рота остановила немца, там завязался настоящий бой. Но потом затрещали автоматчики, слух об окружении заставил роту отступить. Отходили, отстреливаясь, у них были ручные пулеметы, а главное, с ними был командир полка майор Семибратов.

Разведчик

В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.

Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.

Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянная затея, но подначил, и мы с ним зашагали в хвосте колонны. Бескончин послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы следуем за ними… Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швырял. Вперед и по бокам. Немцы никак не разберутся. Суета началась. Раздалась команда. Побросали они свои пулеметы, рацию – и бегом. Мы все это в кучу, подожгли. Вернулись, Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он пожалел Чернякова, стал темнить. Мол, сообщил комбату так: «Смотря по обстоятельствам, можешь, поддержи, не можешь – отходи». Чтоб его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, все же они с одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя, говорит, давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет – поговорили. Устыдил ты его?

А как же, морду набил, искровянил всего так, чтобы закаялся.

Жаль, что мы не видели.

При вас, говорит, нельзя, все же командир он, не положено.

Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.

В упор

Полк отходил. Вообще-то приказано было уйти из деревни на рассвете. В суматохе замешкались, покидали уже под обстрелом. Я тащил на телегу ящик с патронами, когда меня остановил старшина из штаба, приказал бежать на КП первой роты. Связь прервалась, пусть отходят за церковь. А патроны? Хрен с ними, и за винтовкой не успел сбегать, она в телеге осталась, сунул мне свой автомат, толкнул в спину. Я помчался.

Вход в землянку загораживали двое, они смотрели туда, внутрь. Что-то тормознуло меня, я не сразу понял, много позже сообразил, что это было что-то непривычное. Их задницы, обтянутые не нашими синими галифе, и не защитный цвет наших брюк, то было СИЗОЕ! Никогда еще мысль не работала так быстро, это была даже не работа, это вспыхнуло одновременно с мгновенным движением руки к затвору и нажатием крючка. Автомат затрясся, очередь веером в обе задницы, я жал, не отпуская, шел сплошной поток свинца. Глаз заметил всплески крови, самое начало, вскрик, но это вдогонку. Очередь захлебнулась, я уже несся назад, сквозь горящую деревню по единственной ее прямой улице, перепрыгнул через раненую лошадь, она лежала, дергая ногами, что-то попалось еще на дороге. Снаряд ударил в белую церковную колокольню, кирпично-красное облачко – все это всплывало потом, много позже. Я мчался и мчался, гонимый ужасом.

Я догнал своих далеко за деревней. Прислонился к дереву. Стало тошнить. Вывернуло наизнанку, был весь в поту, меня трясло и трясло, никак не мог унять дрожь. Кое-как добрался до старшины, доложил про немцев. То, что они там, ничего другого у меня не получалось.

– На машинах? – спросил старшина.

Он не замечал, что со мной, повел к ротному. Меня стали спрашивать, с какой стороны двигались в деревню немцы, на чем, сколько их. Что-то я бормотал, добиться от меня ничего не могли. Про тех двоих, то, что там было, я ни слова не сказал. Я никому не признался, старался не вспоминать. Почему?

На нашем фронте главной обязанностью было убивать. У нас работали снайперы, и у немцев они работали. Мы знали их время обеда, завтрака и палили туда из минометов и прочего оружия. В оптический прицел иногда попадало лицо немца. Он не знал, что угодил в перекрестье и сейчас в него полетит пуля. Однажды я увидел старого немца с бородой. Не положенной ни у них, ни у нас. Я не стал стрелять в него. Мы иногда толком не знали, попали или нет, убили, ранили, промахнулись. Немец исчезал в окопе, примерно как в тире падают фигурки. Крики к нам почти не доносились. Однако происходило знакомство. Мы узнавали – они перешли на зимнюю форму, они поют песни – чего-то они празднуют. Бывало, ветер приносил запах жареного мяса. Мы знали, куда они ходят за водой. Летом они нахально вешали сушиться над окопами выстиранные трусы и подштанники…

– Вам пришлось стрелять в немцев в упор?

– Вы убивали на войне, так – лицом к лицу?

– Были у вас рукопашные схватки?

Всем хотелось про ту войну, которую показывали в кино, как она на самом деле. За все послевоенные годы я ни разу не рассказал об этой сцене в деревне Петровке, кажется, так она звалась. Не вникал. Откуда был тот ужас? Ведь я воевал уже два месяца. Стрелял много, след был на плече, из пулемета и миномета стрелял. Рассказывал об этом преспокойно, не отказывался, на то и война, чтобы стрелять. И в Германии, на встречах с немцами, не отказывался.

Первые послевоенные годы мне снилось, как я бегу, белая церковь под синим, свистящим от пуль небом, и бегу, бегу. Снился ужас, два зада, мягкий толчок, с каким входили в

мясо пули… Просыпался в поту. Мои танки уже не снились. Потом и этот ужас перестал сниться.

Константин Воробьев
(1919–1975)

Убиты под Москвой

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые,
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт.

В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо – гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкерсы». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана – четкой и торжественно-напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полегшим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеком, потому что каждый – еще в ту, мирную, пору – ходил в увольнительную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди – и уже недалеко – должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов…

Снег пошел в полдень – легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота – тоже как по команде – принялась добивать на ходу остатки галет – личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал «Отставить!» в тот момент, когда двести сорок ртов уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

– Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса – пять скирдов, – и из угла крайнего и ближнего к роте на волю крадучись пробивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, устланных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

– Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распущенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стек, нарочито заметным движением пальцев расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде.

– Товарищ майор, там…

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло немного времени. Из дыры выпрыгнул человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат – рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в

руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку, – наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

– Отставить! – угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. – Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции – «прячут удостоверения» – и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду у курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило бы и поставило его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка:

– Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

– Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! – указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

– А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?!

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком…

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький, измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

– Двести сорок человек? И все одного роста? – спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

– Рост сто восемьдесят три, – сказал капитан.

– Черт возьми! Вооружение?

– Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

– У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью.

Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

– Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? – тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, зажмурился и почти закричал:

– Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Кособрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг – в бескрайние, чуть заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве, так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

– Ну что у вас? – недовольно сказал капитан.

– Разрешите обратиться… Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

– Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

– Окоп отрыть к шести ноль-ноль! – строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы – прямой, высокий и в талии, как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал: – Лейтенант!

Алексей подбежал.

– Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы – от хрена с соской до лопат и кирок, – и горючая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

– Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого – утомительный поход, самолеты, – все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что про-

исходило, – он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось: пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве… Это было, конечно, правдой, потому что… потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, – об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей – воспитанник Красной армии – знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны. Душа и сердце были заняты давно для него привычным, нужным и очень дорогим…

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помком-взвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище, – снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал…»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами. «Правление колхоза „Рассвет"». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

– Это на левом фланге, – вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: – А ваш правый, товарищ лейтенант…

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуемное, притаившееся счастье – радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти и идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели – «как наш капитан!» – радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатом и длинном, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве – неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и нескольких курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

– Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному, – старшина тоже, – и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

– Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий – вторым, а первый – последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко сто-

яла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей, – когда-то тут был сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку судака в томатном соусе.

– И пуля попэ-эрла по каналу ствола! – остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах. – Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

– Ясно, – солидно отозвался Гуляев. – Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

– При отступлении тоже?

– Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще – солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

– Самолеты! – сказал Гуляев. – Видишь? На четыре пальца правее леса гляди… Ну?

– Это галки там, – не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба.

Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

– Заходят на нас! – почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

– Пошли по взводам? – спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым.

Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

– На Клин пошли…

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

– Ну, я пойду к себе, Сашк.

– Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

3

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: деревню населяли молчали-

вые женщины да дети и нужно было попрятать их в убежища. Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальные взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш – помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш – все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно-мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

– Товарищ лейтенант! Видите? – тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. – Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки.

– Это наши, славяне! – разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него: откуда это они так?

На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного – не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было срыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

– Разрешите помочь, товарищ капитан! – сказал Алексей.

Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

– Ногами работай, друг! Ногами! – посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

– Он ранен?

– Нет, – сквозь зубы сказал капитан.

– А что же?

– Ну… не может… Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полушепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его, – решил Алексей, – мне бы с ним минут сорок заняться попластунски!..» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

– Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

– Мы вышли из окружения! – озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров. – И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл…

– Почему вы сюда… Где фронт? – торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

– А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? – не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом.

Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

– Где ваша… винтовка, товарищ боец?!

– Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! – тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». – Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно – в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алек-

сей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом… Не сходя с места, Алексей, крикнул через плечо:

– Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану!

– Сам пойдешь! – сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам.

Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

– Предъявите ваши документы!

– Я попрошу не здесь, – увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

– Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться… Ваше место во взводе, лейтенант!

4

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

– Всех в обход! – сказал капитан. – В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи – в погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

– Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене… Кстати, что вам говорил о фронте… красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

– Курсанты все слышали?

– Все, – сказал Алексей. – Генерал-майор…

– Хорошо, – перебил капитан. – Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец… Контуженый. Установил это я сам. Понимаешь?

– Я все понял, – негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

– Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, – неожиданно и просто сказал капитан. – Кажется, на нашем направлении прорван фронт…

И все тем же, немного не своим и немного не военным тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему – он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексею и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса, мимо деревни прошли два батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и, когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно…

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» – подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, – тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы – украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

– Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

– Сейчас бы кваску покислей да… рукавичку потесней! А-ахх! – И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, – наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке – один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

– Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер-пер по этой вашей канаве, а тут гляжу – маковка церковная…

Он выглядел за сорок – возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним – до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

– Прикроешь шапкой – и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего…

– Перевязать надо, – морщась, сказал Алексей. – Чем это вас?

– Осколком. Как перепел: фрр – и ни его, ни уха. Даже не почуял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

– У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

– Этого не знаю, брат, – ответил боец. – С начальством я знаком мало. А что?

– Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут, – баском сказал кто-то из курсантов.

– Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается, – назидательно рассудил боец. – Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха…

– Он в красноармейской пилотке… и в шинели без петлиц, – опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

– Да ну? – бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: – Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит… Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь… А он вроде того мужика – воз под горой лежит, зато вожжи в руках…

– Ну, вот что, нечего тут, – растерянно сказал Алексей. – Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

– Тут горе вот какое, товарищ командир, – виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. – Ведь танку в лоб не проймешь такой пол-литрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе… Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает – окопы распаханы, люди размяты… Что делать-то будем, а?

– Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении, – строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

– А может, мне у вас остаться? – спросил боец. – Ухо мое и без докторов присохнет.

– Давайте в госпиталь! – повторил Алексей. – У нас вам оставаться нельзя. Мы… – И не сказал, что хотел.

Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

– Ну что ж… Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! – стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В девятом часу к четвертому взводу – тоже, видать, на церковную маковку – от леса петляючи и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, – броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как

о людях, которых он знал или не знал – безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому…»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить – раз по одному броневику, раз – по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

– Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? – У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

– Сейчас нам капитан не так за это врежет, – сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. – Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

– Ну и черт с ними! Пускай знают!

– Что «знают»? – невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

– А все! – вызывающе сказал помкомвзвода. – Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

– Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов – тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

– Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило – сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

– Задымил один, товарищ политрук…

– Ага! Вы их бронебойно-зажигательными?

– Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил… Точно.

– Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки – деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному – то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо, – далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать, – обиженно подумал Алексей, – а это «значение» до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к

низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколеблемо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чохом образовались еще два дегтярных пятна.

– Это шрапнель? – спросил Алексей.

Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все – мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины…

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно-властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа – над ними близко взвыло, – Анисимов торопливо сказал:

– Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки. Покорежит ведь.

То было первое боевое распоряжение Алексея, и, хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов – испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растерянно-смущенно, одними углами губ – точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром, – до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня… В меня! В меня!» Он знал – а может, только хотел того, – что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой не слыханным голосом Алексей пропел:

– Взво-о-од! Поодиночке-е…

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным – резким и испуганно-злым – Алексей крикнул: «Отставить!» – и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только… Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я… трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда…»

Впереди увязающе-глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик:

– Я-астре-ебо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и, когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

– Отре-ежь… Ну, пожалуйста, отре-ежь… – Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову.

Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели: они всегда мешают ползти… Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова – на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого… «Это, они“…» – понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отводя глаза:

– Подожди тут! Подожди тут. Я сейчас…

Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

– Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками, и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод – «они сами ушли… по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то» – «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки – «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

– По местам! Бегом! – отчужденно и властно крикнул он. – И без моего приказа ни шагу.

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду…

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых – все в спину – оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

– Дойти до КП могут? Где они? – спросил наконец Алексей.

– В коровнике. Лежачий только один. Воронков.

– Его надо отнести к санинструктору… И политрука тоже… Я пойду сам… А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица – курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

– Быстрее! – исступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком.

Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах – начиналось все сначала.

– Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

– Кладите туда – и за мной! – приказал Алексей и побежал назад – в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

– Прекрати-ить! Прекрати-ить! – на бегу закричал Алексей.

Помощник с лету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы… Я первым или последним? Наверно, надо первым… это ж все равно что при атаке… А может, последним? Как при временном отступлении?..» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и, когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти… Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог – они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам…

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом, без запинки:

– За коровником – бывший погреб, а может, другое что… ямка такая под яблоней – они все там, шестеро… Четверо допрежь раненых и двое, что я послал…

– Ну?

– Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника…

«Я не пойду… Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так… без меня. Ну что я теперь им…» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет…

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

– Попьют кофе и опять начнут, – сказал помкомвзвода, глядя через поле.

Алексей промолчал.

– Я говорю, опять начнут! – повторил помощник.

– Ну и что? – отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение.

– Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

– А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

– В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы… Может, выбить его оттудова?

– Хреном ты его выбьешь? – бешено спросил Алексей. – Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

– У нас бронебойно-зажигательные патроны есть, – все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

– Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

– А пуля летит семь!

– Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал… Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке… А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

– Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило…

– Так что? – удивился Алексей.

– Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится…

– Он же, наверно, контужен!

– Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним…

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

– А у вас богато?

– Убиты шестеро курсантов и политрук, – вызывающе ответил Алексей. – Раненых нет!

– Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать, – обрадовался санинструктор. – Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых…

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему телу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этих нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать. Мы бы «их» пошшупали!..»

Он так и подумал: «Пошшупали» – и повторил это слово вслух.

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступать.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду, – он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики – разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, неспособным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое положение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых курсантов… Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием… «Атаки с тыла мы не выдержим, – думал Рюмин. – Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят…»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой – это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устрашился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед… И разгромить и выйти к лесу, а по нему на север и… Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых…

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим…

…Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо-устремленно, как паровик, нетронуто стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» – с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

– Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глазами по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать.

Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник.

Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, – негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов – сам он тоже – не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у не знавших ее…

По тем же самым причинам – вблизи обращенные на него глаза живых – Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека.

– Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ… – Рюмин замолчал и что-то подумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть, – приказ командования уничтожить мото-мехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть… По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил вскоре взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

– Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты, – доложил он Рюмину. – А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо… Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тесом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты… И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, а верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

– Вы… москвич? – негромко спросил Рюмин.

– Не понял вас, товарищ капитан, – сказал санинструктор и поправил сумку.

– Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь, – мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенцах возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил из рук огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это, – поспешно подумал Рюмин, – хозяин теперь всему война. Всему!» Но осматривать комнату и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

– А кормить раненых вы сами будете?

– Да, – сказал Рюмин. – С ними остается и наш доктор.

– А вы все… никак уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, и Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

– А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

– Мы вернемся через три дня! – вдруг таинственно сказал он, вглядываясь в стариковы глаза. – И тогда заплатим вам за помощь Красной армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение – стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим.

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное – дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь…

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра – он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта – своя тоже – вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины: смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

– Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал – голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением – как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издалека – темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один

тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином – у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором – волновался – сказал: «Внимание!» – и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени…

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности – они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания, и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно-согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

– Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавлявшей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завыли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку…

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать – невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

– Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услыхал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно-недоуменный крик:

– Отдай, проститутка! Кому говорю!

Как в детстве камень с обрыва Устиньина лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услыхал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» – и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно-страстном заклятье.

– Lassen sie es doch, Herr Offizir. Um Gottes willen! (Оставьте, господин офицер. Ради Бога!)

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро пронзительном взрыве ярости и отвращения, которое он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

– Стреляй скорей в него! Ну?! – стонуще крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло, как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочь забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью – «Меня не убьют! Не убьют!» – хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, – это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом.

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять, почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора?

Сахарнобело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая, с округлой конечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту – почему сапог стоит?!

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клекотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог – для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипло к голенищам и носкам сапог. «Это он… облевал», – со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы…

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих, – бой затихал. Обессиленный, смятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю… Загляну в лицо – и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе – без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице, в свете пожара, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

– Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

– Куда вы их?

– В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! – строго ответил курсант и властно повысил голос: – Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо, – у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красночерного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив на бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку блестела лакированная кобура парабеллума.

– Ну, Лешк! – закричал Гуляев, увидев Алексея. – В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом – невнятно, сквозь сжатые зубы – сказал окружавшим его курсантам:

– Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

– В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят… Видал? Вконец охамели…

Ожидающе вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

– В том конце, возле школы, – сказал Гуляев. – Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоем взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро…

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

…Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых, – спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом – рукоятки в животы – курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования – «как из мешка!». Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось немного времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властностью курсанты приказывали им потерпеть.

– Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

– Это точно! Там их не меньше батальона сыграло…

– Одних автобусов штук сорок было!..

– Да шесть броневиков…

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди…

8

Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным – сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете – узенький, серый и плоский: небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них, – туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не останавливался.

Все эти пять или шесть километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу

окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносок неба – день! О если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи!! Загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте!

Рюмин повел роту в глубину леса – чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним: он мог быть значительно гуще, запущенней, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пугано тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось наизволок серое поле, сливавшееся с серым небом…

…Такие сигареты можно было не курить – хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но потому что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круглой обороне, курсанты курили их молчаливо, изучающе-въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга, – может, им легче так было, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились разновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километрах в двух отсюда, виден красный купол водонапорной башни. Наверное, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем! Командир третьего взвода лейтенант Рыжков с тремя курсантами принес ведро с водой и четыре ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются Красными Двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в тридцати семи километрах западнее Клина.

Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов.

День разгуливался – небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В одиннадцатом часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченное черно-желтыми крестами.

Кто-то из невесело-раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик «костылем», вложив в это слово презрение и горькую обиду: его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и, искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступало жестокое лихо бомбежки. Курсанты впервые видели «костыль». Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять: до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов – и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.

– Вверх не смотреть! Не шевелиться! – застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, исподтишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил:

– Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его… Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!

Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал.

На пятом залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным, но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к отсыревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет, они не возьмут листовки, – подумал Рюмин. – Они боятся. Кого? Меня или друг друга?»

Озлобленно и хватко Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее к глазам. И сразу же листовки взяли все – Рюмин хорошо это видел, – и кто-то из раненых стонуще спросил:

– Ребята… что там написано, а?

Ему никто не ответил – читали, и Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился.

– Что там, а? – снова простонал раненый.

– Да ни хрена тут нету! – с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант. – В плен Гитлер кличет… А пропуск такой: «Бей жида – политрука, рожа просит кирпича!» Ясно?

– Как Пу-ушкин! – протянул раненый.

– П… юшкин! – окончательно сбился на басы курсант, и Рюмин засмеялся первым и повторил то, что сказал курсант…

Решение…

Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту, днем, в тылу у немцев на восток двигается колонна из ста шестидесяти трех курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и двадцати восьми «санитаров», несущих четырнадцать раненых… Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток, – там ведь свои! В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое – разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов.

Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу – оно ждало врага только с запада, и отсюда ему на целых двести метров было ближе к своим…

Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода – там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил:

– Кушать просят.

– А можно им? – зачем-то спросил Алексей.

– Не все, – значительно сказал Гвозденко.

– А что можно?

– Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты. Воды тоже нету.

Он побежал к Красным Дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес к глазам ладонь, задрав голову, и бросился назад.

– Самолеты сюда… Много! – крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро.

– Ты давай к себе, – сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку, а Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты.

Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно-тонко и чисто запело ведро. Острый ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба и чем-то далеким и полузабытым больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньках и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался – из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе», – мелькнуло в его мозгу, и он крикнул: «Внимание!» – и услыхал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее, и Алексей мысленно крикнул: «Внимание!» – и непостижимо резким рывком кинулся вперед, в глубь леса. Он упал возле сосны и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках – далекие силуэты хат и над ними несколько штук завалившихся на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на Дворики «юнкерсов» уколол его сердце надеждой – «может, они все перекинутся туда», и одновременно он подумал, что раненых переносить в хаты было нельзя… Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. «Что ж он… его мать, завел, а теперь…» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы, но, как только эти паузы исчезли и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал – тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти; видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то не выразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные

винтовки… Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле, и дважды возвращался в лес – в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи…

Наконец для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва земли: бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно-ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом – накатно-тяжком, медлительном и густом.

Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника…

9

…Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и, полузасыпанный, он казался мертвым. В падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.

– Больше тебе некуда, да? – ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды. – Наложил или ранен? – уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз.

– М…к! – выдохнул Алексей. – Лежи тихо! Танковый десант!..

Тот одним рывком перевернулся на бок и подтянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова – к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и неприближающимся.

«Может, это тоже пройдет… Как-нибудь пройдет и кончится», – подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! – внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. – Там бой, а он…»

Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал и послышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Алексей всем телом подался к курсанту, затаенно молясь корню, осыпавшемуся на него песком и глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчанье от живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик.

– Где твоя СВТ? – свистящим шепотом спросил он курсанта.

– Тут! – к чему-то готово отозвался курсант. – И немецкий автомат тоже… А твоя?

У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще круче выгнул спину и сказал:

– Вот же сволочь! Ему хоть бы что…

В буреломном грохоте леса неожиданно явственно – и совсем недалеко – вспыхнула раздерганная ружейная пальба и раздались крики, потом несколько раз – знакомо по учебному полигону – звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче.

– Тихо! Цыц, в душу твою!.. – обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея. – Ты что… – Он осекся, с писком сглотнул слюну и отнял руку. – Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь! Нас тут не найдут… Вот увидите! – зашептал он в глаз Алексею.

– Вставай! – крикнул Алексей. – Там… Там все гибнут, а ты… Вставай! Пошли! Ну?!

– Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем… Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех… Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью! – исступленно просил курсант и медленно, заклинающе нес ладонь ко рту Алексея.

Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.

– Стреляй тогда! – тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт. – Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас… раненых… в плен…

И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант – Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно подавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели, – курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. «Что это, страх или инстинктивное сознание пользы жертвы? – мелькнуло у Алексея. – Лучше это самим, чем они нас… раненых… в плен». «Мы их потом всех, как вчера ночью!..»

Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта – самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: «А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было бы неправдой! Я ни о чем не думал!.. Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине… И больше всего о себе… Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..» Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет.

– Психический! – измученно прошептал курсант и лег.

Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и скоро все стихло. Ушли.

Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми маслеными пятнами, а по земле синим томленым чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади с винтовкой

на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно-смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить, и все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг – ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «дон-дон», а через десять шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север.

– Так и дурак кашу съест, была бы ложка, – сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь.

Алексей промолчал.

– Воюют-то они чем, – подождав, снова начал курсант, – минометами, пикировщиками да танками?

– Это ты кому следует скажешь, чем они воюют… А как мы с тобой воевали нынче… тоже доложишь! – озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь.

– Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! – угрюмо сообщил курсант. – И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке…

– Один? А я где был? – парализованно остановился Алексей.

– Не знаю. Мало ли… Там кто-то все время стрелял из пистолета по «юнкерсам». Кажется, сбил одного… Может, это вы были?

– Вот гад! – изумленно, самому себе сказал Алексей. – Рота погибла, а он… Вот же гад.

– Да кому это нужно, чтоб мы тоже там погибли? – так же изумленно, шепотом спросил курсант. – Немцам?

– Ты знаешь, о чем я говорю!

– Может, и знаю. Об НКВД, наверно?

– Вот-вот. И о своей и твоей совести…

– Ну, моя совесть чиста! – сказал курсант. – Я вчера ночью честно, один на один, троих подсадил, как миленьких… А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего…

Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело:

– А вы как… многих вчера, товарищ лейтенант?

– Одного, – не сразу, устало сказал Алексей. – Худой, как скелет…

Курсант удивленно и немного насмешливо посмотрел на него сбоку.

– Щупали, что ли?

– Документы проверял… Он офицер был, – солгал Алексей и рукавом отер лицо.

– А я, дурак, и не подумал насчет трофеев! – сокрушенно сказал курсант. – Один вот только автомат прихватил…

Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав цигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул:

– Немцы! Над самыми верхушками… Четверо!..

Было все сразу – волна горячего испуга («Он сошел с ума!»), вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестевшими касками («Я тоже?»), и голос капитана Рюмина:

– Свои! Подходите!

Лес был шагах в двадцати, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно…

10

Это оказались те самые скирды, где четыре дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали, с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял – сам ли он замедлил шаг или же курсанты с Алексеем настигли его и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к ним, и сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать и хочется единственного – упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно и опасливо оглядел скирды, лес, светлеющее небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова:

– Все? Больше никого?

Алексей ничего не ответил – это было сказано в десятый раз, – и тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес:

– Тогда обождем здесь.

Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда, и, когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал:

– Не нужно туда! Сделаем сами…

Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив в горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и с неестественно пристальным, почти тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирда круглые охапки слежавшегося клевера и тимофеевки.

– Все. Давайте, товарищ капитан, – сказал Алексей.

– Что? – непонимающе спросил Рюмин.

– Заходите, а я свяжу затычку.

Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустился на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хотя влезть в дыру можно и нужно было иначе – задом, уперев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. Он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка сухо и громко сглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши и пахло сокровенным, очень давним и полузабытым, и от всего этого томительнобольно замирало сердце, и в нем росла запуганно-тайная радость сознания, что можно еще заснуть.

Было светло и спросонок зябко, потому что затычка валялась в стороне, – видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака. Он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладони, глядел в небо. Там, над лесом, метались три фиалково-голубых «ястребка», а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре «мессершмитта». Алексей впервые видел воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, кургузые «ястребки», зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а «мессершмитты» разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот «ястребок», который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял.

– Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? – возбужденно спросил Алексей.

Рюмин не обернулся: на лес убито падал, медленно перевертываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый «мессершмитт».

– Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! – прошептал Рюмин. – Негодяй! – убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит.

Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся «ястребка» – один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.

– Все, – старчески сказал он. – Все… За это нас нельзя простить. Никогда!

У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы – плачет?! – Алексей, встав на четвереньки и забыв сесть, одним дыханием выкрикнул в грудь Рюмину все то, что ему самому сказал курсант:

– Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью! Мы их… Пускай только… Они еще не так заблюют!.. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!..

Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение – невидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей, но он сидел теперь затаенно-тихий, как бы во что-то вслушиваясь или силясь постигнуть ускользающую от него мысль, и, как только это удалось ему, черты лица его сразу же обмякли, и он как-то сожалеюще-любовно посмотрел в глаза Алексею.

– Покурить бы, – виновато сказал он.

– Это я сейчас, – вырвалось у Алексея. – У ребят есть, я знаю!..

Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охапке клевера перед ними стояла расковырянная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели, может, потому, что не решили – чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидев банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя, и он спросил, как они отдохнули.

– Как у тещи, – с мрачной иронией сказал кто-то, и оттого, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить.

– Ну ладно, – торопливо проговорил он, – я зайду после…

Его догнал тот самый курсант из третьего взвода и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку.

– Ну-ка, берите с капитаном! – строго и загодя возмущенно на предполагаемое неповиновение сказал он. – И под низ давайте, а то разольете к такой матери!..

Бессознательно подчиняясь приказному тону, Алексей машинально снял с его ладоней банку и тут же протянул ее назад, но курсант, на отлете поддерживая руки, побежал к своим и на пол пути обернулся и напутственно кивнул Алексею.

– Я же только так… Закурить хотел! – слабо крикнул Алексей.

– Потом принесу! – отозвался курсант, но уже не оглянулся.

Рюмин встретил Алексея вопрошающе-длинным взглядом, и, когда Алексей, приемом курсанта, поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил:

– Что это?

– Консервы… Ничего нельзя было сделать, – растерянно проговорил Алексей. – А табак, сказали, принесут после…

– Сказали? – переспросил Рюмин. – Зачем? Черт знает… Как же ты не понимаешь всего этого! – И, побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул: – Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они не этим должны нас… Не этим!..

Все того же курсанта и Алексея, бежавших со своими ношами навстречу друг другу, разделяли шага три или четыре, когда в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший выстрел. Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что

он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полушепотом ругался в Бога…

Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и, когда он позвал капитана и подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.

Это было впервые, когда Алексей не устрашился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость и согласность к той таинственно-неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызывало у Алексея ни протеста, ни жалости. Как в полусне и с выражением просветленной оцепенелости он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощущая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В проходе дыры молча стояли курсанты, и, когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил:

– Куда он попал, товарищ лейтенант?

Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал: «Какая разница!» – и выругался в Бога.

Все, что делал потом Алексей – снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет, – все это он совершал внимательно-прочно, медленно и почти торжественно. То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это – бывшее, настоящее и грядущее – требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня-нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство, дед Матвей, Бешеная лощина… По очереди разглядывая лица курсантов, он раздельно и бесстрастно сказал:

– Надо его на опушке, под кленом.

– Как теперь узнаешь клен? Листьев-то нету, – сказал кто-то, но Алексей повторил с тупым упрямством:

– Чтоб небольшой клен… Разлатый.

Он сам нашел его метрах в ста от скирдов. Молча ходившие сзади него курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и курсанты, но шинели свои сложили поодаль от лейтенантской.

– Дай мне свой штык, – сказал Алексей курсанту из третьего взвода.

– Да полно вам, мы сами выроем! – с досадой взглянул на него тот.

– Дай, говорю, ну? – прошептал Алексей.

Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею.

Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырея – жесткого и неподатливого, как проволока. «Пырей растет по всей, наверно, России… Бывало, пока нарежешь дерна, иступишь лопату… А земляные плитки назывались в Шел ковке корветами. После дождя ребятишки запруживали ими ручьи на проулках села…»

Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало: первая корвета самая трудная… Трое курсантов, дробивших до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода.

– Потом выложим ими верх, – сказал он Алексею.

Под черноземным слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше показался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмяклорыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнувшие к рукам.

…Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, что шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один – курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински – чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина – головой на север или юг, – Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином и все это не сбросил, а сложил в углу могилы.

Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом орудия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы, у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров, – Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц и, снова болезненноостро ощутив присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:

– Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз…

Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни.

– Ага, матери твоей черт! Ага!..

Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей…

Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантами в лесу: на боку, подогнув к животу колени…

Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, болью отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного – дышать, и он продолжал захлебно сосать из шинелей воздух, пропахший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло все сразу – память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с такой силой рванулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшихся вниз откуда-то сверху, от затылка. Теперь он опирался грудью на локти, как на колышки. Они тряслись и вот-вот должны были переломиться, но вокруг них была пустота и воздух, и, захватывая его ртом, Алексей по-прежнему утробно выл – иначе он не мог, боялся дышать. Он повторил рывок и очутился поверх комьев земли и глины. Привалясь к обвалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя за тем, как из носа на подол гимнастерки размеренно стекали веские капли крови.

– Это только так, – гнусаво сказал Алексей. – Зараз пройдет…

Он лег, вытянувшись во весь рост, зажмурился и раскрыл рот. Падали крупные, лохматые и теплые снежинки. Они липли к бровям, наскоро превращаясь в щекочущую влагу, заполнявшую глазные впадины, и Алексею казалось, что это плачут глаза одни, без него…

Сначала он отрыл свою шинель и рукавом гимнастерки старательно очистил петлицы от налипшего песка и глины. Кубари были целы. Не вставая с коленей, Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно-приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.

– Стерва, – вяло, всхлипывающе сказал Алексей. – Худая…

По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он отрыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие. Винтовки он повесил на плечи – по две на каждом, пистолет спрятал в карман брюк, а бутылку взял в руки. Не глядя в сторону скирдов, он пошел от могилы по опушке леса, постепенно забирая вправо, на северо-восток.

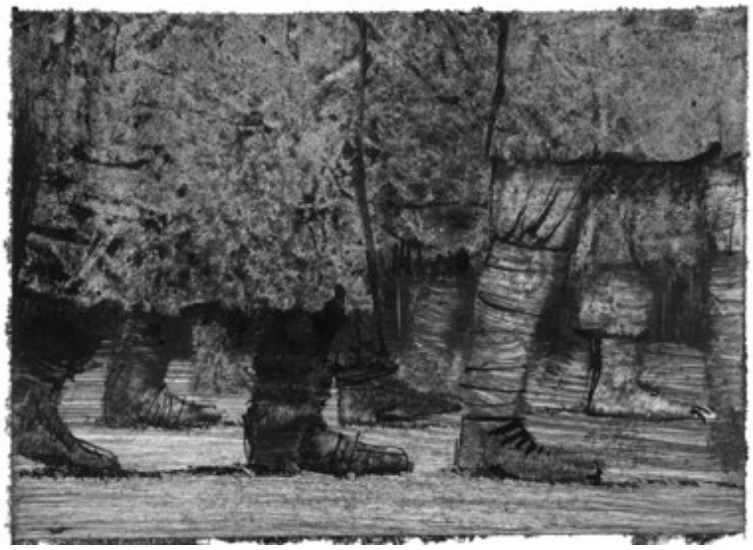
Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе, – оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость оттого, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк…

Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипывающе шептал:

– Стерва… Худая…
Так было легче идти.

1963

Константин Воробьев
(1919–1975)



Это мы, Господи!

Луце жъ бы потяту быти,
неже полонену быти.
(Лучше быть убиту от мечей,
чем от рук поганых полонену.)

«Слово о полку Игореве» Поэтическое переложение Н. А. Заболотского

Глава первая

Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обежали высокую, статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня.

– Официр? Актив официр? – удивленно уставился он в переносицу Сергея.

– Лейтенант.

– Зо? Их аух лейтнант! (Вот как? Я тоже лейтенант!)

– Ну и черт с тобой! – обозлился Сергей.

– Вас?

– Што ви хофорийт? – помог переводчик.

– Говорю, пусть есть дадут… за три дня некогда было разу пожрать…

…Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровоточа, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках. У другого он просто болтался на животе.

– Хальт! – простуженным голосом прохрипел немец.

Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади, у памятника Ленину, прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро со стекающей из него какой-то жидкостью.

Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить.

– Комт, менш! (Идем, человек!)

Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную.

«Вот они где хотят меня…» – подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки.

Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь.

«Я буду лежать мертвый, а они прикурят… А где политрук Гриша?.. Целых шесть годов не видел мать!.. Это одиннадцатая?

Нет, тринадцатая… если переступлю – жив…»

– Нах линкс! (Налево!)

Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины кромешной тьмы слышались голоса, стоны, ругань.

«Наши?» – удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал: остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца…

Привыкнув, глаза различили груду тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжелораненые поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высясь в полутьме.

– Гра-а-ждане-е-е! Ми-и-лаи-и… не дайте-е по-мере-е-еть!.. О-ой, о-о-ох, а-а-ай! – тягуче жаловался кто-то голосом, полным смертельной тоски.

– Това-а-рищи-и! 0-ох, дороги-ия-а… один глоточек воды-и… хоть ка-а-пельку-у… роди-и-имаи-и!

– Прими, говорят тебе, ноги, сволочь, ну!

– Эй, кому сухарь за закурку?..

– …и до одного посек, значит… вот вдвоем мы только и того… без рук… попали к «ему»…

– Хто взял тут палатку?

– В кровь… мать!..

– Земляк, оставь разок потянуть, а?

Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом.

Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую цигарку.

«Ну-с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни!» – с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью: почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии! Пленный… когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть… Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце… Смерть есть смерть!

«Значит, просто струсил?!»

В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять дээсовских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали.

Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин.

Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона.

– Без трех минут девять, – взглянул на часы политрук, – фрицы и французы допивают кофе. В девять ноль-ноль начнется минопускание по нашей вотчине…

Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин.

Ии-иююю-у-юю… Гахх! Гахх! Ии-юю-уу-юю…

– Пожалуй, укроемся, лейтенант?

Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей, в давно заброшенном погребе, сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад.

– Бац, телеграммы! – воскликнул писарь, наклоняясь к полу погреба.

То же самое как-то невольно проделали Сергей и политрук.

– Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине, – пошутил Сергей.

Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись: по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин.

– Потренируем нервишки, а?

Пи-и-июю-у-ю! – вдруг слишком близко завыло в воздухе.

Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея, крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них.

– Мина залетела в яму, – проговорил Сергей, – писарь убит, – указал он политруку глазами на ветви груши…

По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин.

– А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант! – удивился политрук.

– Да-да, – отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что, в сущности, не боится ее, только… только умереть хотелось красиво!

Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.

«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» – решил он, сидя на куче угля…

Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движение среди пленных.

– Немцы бомбить идут! – крикнул кто-то в дальнем углу. – Прячь, братва, что у кого есть!..

Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.

– Комагерр! (Ко мне!) – зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея.

– Мантиль ап! Ап, шнелль! (Шинель снимай! Снимай, быстрей!)

Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.

– Вас ист дас? О, гут, прима! (Что такое? О, хорошо, красиво!) – осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.

Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.

– Это же память!

– Вас бамат?

– Память, знаешь, скотина?!

В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея…

Глава вторая

Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани.

Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях… В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окурок на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями – из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук – лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны – в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!..

…Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.

«Где это я?» – подумал он.

Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» – обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.

– Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запамятовал, где ты? – урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. – Портсигар пожалел… велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как…

Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.

– Полежи, я схожу погляжу – снег растаял ли. Попьешь водички…

«Да Горький так говорил! В кинокартине „Ленин в 1918 году“», – вспомнил Сергей.

– Как зовут-то тебя, мил человек? – подавая Сергею консервную банку с полурастаявшим снегом, спрашивал бородач.

– Серегой, стало быть…

– Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит… Ярославский я, из Данилова, может, слыхал?

Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизме-

римо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился поэтому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.

– Помогает, слышь, крепко при побоях, – объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья.

Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях», – решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:

– Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе… – А помолчав, добавил: – Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь…

На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.

– Лос! Лос! (Давай! Давай!) – торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию.

Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов – то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком… Контуженная левая часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.

– Держись крепче, Серег, не то убьют! – посоветовал Никифорыч. – Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость, – продолжал он, невозмутимо шагая вперед.

Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.

– Братцы, ну как жа оправиться? – взмолился вдруг кто-то из пленных.

– Ай вчера от грудей? Снимай штаны – и дуй! – поучали его из строя.

– Не умею, родненькие, на ходу, я жа не жеребец…

– Пройдешь верст пять и сумеешь, – обещали несчастному.

– Ишь, чего захотел! Знать, не голодный…

– Черт плюгавый!..

Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.

К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.

– Журавель, ребята, виден, попьем водички!

– Эти напоят… захлебнешься…

– Ан, слава Богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью… Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши…

– Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!

– Ишь, сука паршивая, камрата заимел…

Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.

– Тетя, вынеси хоть картошку сырую…

– Пить…

– Корочку…

– Окурок…

– Да-а… Сюда-аа… Аа-я-оо-а-яя!..

Двести голосов просящих, умоляющих, требующих наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой и ветхой избенки старуха, кряхтя, тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына-фронтовика, что и ее Ванюша, может быть, шагает где-нибудь вот так, умоляя о глотке воды и единственной мерзлой картошке. И вынесла бы старуха мать ковригу хлеба и кринку молока, да живет она, горемычная, на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили погреб от картошки, съели рожь и пшеницу… Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом.

Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения.

Как бы вторя очереди первого автомата, застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку.

– Ложись, Серег, – предложил Никифорыч, но, сразу побледнев, схватился руками за грудь.

– Что такое? Что? – бросился к нему Сергей.

– Убили-таки, ироды! – хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину. – Вот… тебя тоже убьют, Серег… беги, – хрипел он. – Володька похож на тебя… сын. На фронте он… Ну, возьми мешок… Иди!

Выстрелы так же внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнув шинель и фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь, пенясь, сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром.

Вновь, построенные по пять, двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развевающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.

Глава третья

Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает холод, проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижется в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?

Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные…

…Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной

буханки в восемьсот граммов на двенадцать человек. Диким и жадным огнем загорались дотоле равнодушно-покорные глаза человека при виде серенького кирпичика.

– Ххле-леб! – со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!

Сергей видел, как курносый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.

– Айда, ребята, к третьему бараку, – почему-то шепотом проговорил он. – Разделим хлебушко…

Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:

– Эй, ты…. в рот, отдай буханку!

Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба.

Не так-то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером в конопляное зерно, должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на двенадцать частей.

Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб…

– Ну как, братва, ровна? – спросил парень, закончив раскладку крошек.

– Вон там от горбушки надоть…

– Добавить суды…

– Ну, будя, будя! – проговорил парень. – Теперя становитесь по одному, чтоб номера помнить.

Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: «Кому?» – называл тот или другой номер.

Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку…

С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей.

Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его…

Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг… Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна

смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава Богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба… Личико не шевелилось.

– Давно здесь? – стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.

– Месяц… нет, меньше, – тоненьким голоском пропищало личико. – Болен я… Пальцы отваливаются, – продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела.

– Как отваливаются?

– Гнали нас… на дороге танкист-немец… снял с меня валенки… пять верст босой… ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились… Теперь только три… завтра, наверное, тоже отвалятся… И ноги гниют тоже… Тут нас много таких…

В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно!.. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.

– Шесть верст до дому… Знала б мама… принесла бы картошки вареной, хлеба тоже… На шоссе мы живем… деревню Аксеновку знаете? Колей меня зовут… И как сообщить маме, вы не знаете?

Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: «Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной… и хлеба тоже… Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватись руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным…»

– Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме, – ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: – Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!

– Э, нет! Поглядите-ка вот…

Ухватись одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.

– Как же я дойду? – повторил он, печально глядя на свою ногу.

Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.

– Вот я какой теперь! – проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью…

В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться «баланда». Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки.

Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой.

«Но что же в нем все-таки есть?»

Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка

лежала совершенно новая плащ-палатка – предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.

– Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! – обрадовался искренне Сергей. – Только вот котелка у меня нет…

Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.

– На черпак баланды хватает, – пояснил он.

Третий барак выстроился за получением баланды.

– Сказывают, гушша имеется в баланде…

– Потому наш барак последний, так она на дне…

– Не напирай, не напирай!

– Люди добрые, и сделайте Божескую милость, получить на на двоих… посудинки нету…

Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекочущий нос запах варева.

– Ну, добавь… ради Христа, добавь!..

И полицейский «добавлял». Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утоптанный тысячью ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды…

Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:

– Больше нету баланды?!

– Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря…

– Р-расходись в б-барак! – кричали полицейские, крутя дубинками.

Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча.

– Какой-то мешок не давал малец полицаям… ну, и того – сбросили с нар. В четвертый понесли… помер, стало быть, – пояснил сосед.

Глава четвертая

Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глотают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.

Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все – костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть… Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг:

– Ххле-епп, ххле-еп… хле-е…

На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых…

…В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие холода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях.

«Тиф», – спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.

Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос… Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:

– Пи-и-ить… ии-ить…

А потом вновь затихает – иногда навеки, иногда до следующего «ии-ить».

Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. «Чаво гадить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: «Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью – Тося».

До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: «Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтобы не убили меня… Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет…»

Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх вповалку лежащих там людей. Где же ему место, как не под нижними нарами, куда скатываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука…

Да, крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.

– Слезь… с моего… места, – прошептал он занявшему его «жилплощадь».

На хрип этого привидения удивленно уставилась стриженая дынеобразная голова.

– Ты што, из четвертого появился?

– Слазь…

– Откуда этот хлюст взялся?

– Место, слышь, требует…

– В чем дело? В чем дело, почему голый, а?

Сергей медленно повернул голову по направлению голоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.

– Где твоя гимнастерка, а? – протискиваясь к Сергею, спрашивал он.

По петлицам Сергей догадался, что это доктор. «Неужели тут есть доктора?» – мелькнула мысль.

– Я болен… видимо, тиф.

– Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?

– Раздели полицейские… обмундирование комсоставское… трудно не взять…

– Вы командир?

– Лейтенант… Помогите же, доктор… я потерял силы… Это вот мое место… сбросили, лежал там…

– Идите за мной.

В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга.

Перед вечерними сумерками пришел доктор.

– Как живем, лейтенант? – спросил он, взобравшись к Сергею. – Правая нога? Гм… явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать… как-нибудь, да!

– Резать не дам! – упрямо выговорил Сергей. – Я еще буду драться!..

– Дерутся здоровые, лейтенант… конечно, и в моральном смысле, да! Но… одну минуту! – Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. – Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у меня последний… И вот – баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!..

Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки.

«Я не нужен себе калекой, нет», – думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом.

– Отлично! Будет толк. Боль – не что иное, как представление о боли, да! – отчеканил доктор. – Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется…

И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу.

Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишащие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал:

– Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и… доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?..

Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.

– И, – продолжал Сергей, – я поэтому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого.

– Следовательно?

– Я люблю мою Родину!

– И?

– Вы ведь немного старше меня!..

– Вставайте. Учитесь ходить, да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим, да…

Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал «в доску своих», приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие…

Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в «амбулаторию». На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский «санинструктор». Он выслушивал трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского.

– Та-ак, ничего серьезного. Помажем…

Навернув грязную тряпку на палочку, «санинструктор» быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.

– Чрезвычайно полезно. Иди!

– Дело в том, – объяснил Лучин Сергею, – что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели… Так-то, товарищ лейтенант, да!..

Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля близкую весну и охапку надежд. Толковали одни:

– Весной должна кончиться война. Попомните мое слово! Потому што пропали мы тут…

Думали другие: «Зелень, лес… Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать».

Март принес частозвон утренних капель с крыш бараков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из дверей бараков зловоние оттаявших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда и почти поллитровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел-отступился от бараков тиф, переваляв почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из бараков, садятся с подветренной стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровавятся от них ногти больших пальцев, а «пройдено» только полрубца плечевого! Расстилается на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! Прижал ее руками да и покатил по шинели – и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей…

Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней – пленные.

– Стучат, доктор, а?

– Зовут, лейтенант, да! Вот подтает снежок – обстановка улучшится. Махнем, да!..

Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождавшему его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест.

На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.

Глава пятая

Клейка и непролазна вяземская грязь. Словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешена грязь тысячью ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают-чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры по грязи босые ноги…

За городом, на незасеянном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роют пленные ямки-овражки; часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из вяземских лазаретов. И, уложив двадцать, тридцать гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Ну кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять! Об этом говорят кресты…

В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате; огнем жжет ладони шершавая ручка; раскис-расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты… Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот?

– Лос, лос, менш! – рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами…

…Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатой мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных «бычок», бросились на него со всех ног двадцать человек. И поднимет торжественно пистолю фашист, и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец! Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел…

Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось двести человек. Там от шести часов утра до восьми вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные в оврагах и буераках близ станции. Целыми охапками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы! Согласно немецкому «закону», пленному полагалось 0,75 литра «варева»…

За городом, в дымке утренних паров, встало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания – майоры и равные им, капитаны и равные им – и, окруженные автоматчиками, уныло и молча шли на работу.

Вот уже третий день Сергей с партией в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто – двести хлеба и «великая возможность смыться», как говорил новый приятель Сергея капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров – Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая: авось отвернется конвоир…

Как-то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок.

– Подозрительна эта штука, – указал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок. – Спирт у них в таких бывает…

– И что?

– Как что? Фляга есть у меня, понял?

– Ну?

– На носу баранки гну!.. Полицейским отдадим – килограмм хлеба получим в побег.

Немец-старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку.

– Задушить бы – и айда! – кивнул на него капитан.

– Закричит гад, немцы за стеной…

– Вот что, – предложил Николаев, – захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке…

Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и ворча поплелся за Сергеем, оставив капитана в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца.

– Шнелль, менш! – наконец не выдержал тот.

– Не лезет, дедушка!

– Вас ист дас, гедюшка?

– Трудно, говорю. Запеклось к черту все!

– Лос, сакрамент! (Давай, проклятый!) – разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного!

– Ду люгст. Вильст нихт арбайтен?! (Ты врешь. Не хочешь работать?!)

Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекатывать бочки.

– Готово! – пояснил он Сергею. – Древесный только…

Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь: пойманных убивали тут же.

Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на «подкалымить жратву», у других гибли надежды на скорый побег.

– Вот тебе и смылись! – сокрушался капитан.

– Опытнее будем! – злился Сергей.

…В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба – буханки на четверых. Шли нескончаемой вереницей люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей: ребятишек двенадцати лет и стариков – семидесяти и выше.

В семь часов вечера вновь вырастала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях поспевала баланда. Ходуном прыгает черпак – раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженой голове, и зазвенит-запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак, пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился…

А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос:

– Ии-и ты-и-и жа-а, мой родненьки-и-й сыно-о-чиик, ясненьки-и-ий све-е-етик ни-нагля-а-дный! За-а што-о тебе-е-е доста-а-а-лась до-о-ля го-орькая, го-о-оло-ву-шка ты-и моя-а ни-ща-сна-ая!..

Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет:

– Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокеть…

Выходят послушать соло и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни, не знают они, как рождаются такие звуки-стоны! Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения…

Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания…

Глава шестая

Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов. Все той же колючей проволокой забиты-опутаны окна, и задумай шальной воробей пролететь в окно – повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки колючки.

Сорок семь тел распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это – смерть для всех! Съедены еще в лагере «дорожные продукты» – две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоит поезд?..

Жестокой дизентерией мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане: «Съешь нас!» Нет сил отогнать эту мысль. Тянется невольно рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. «Корку лучше!» – мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносят украдкой от глаз ко рту. «Нельзя, подохнешь!» – шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виновато и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком: «Чего уж там, бери и ешь…»

– Нельзя, понимаешь, сволочь?! – громко шепчет Сергей.

Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает:

– Болит?

А сам думает: «Уже бредит, помрет…»

– Я не сошел с ума, капитан, – говорит Сергей, – но я до смерти хочу есть… противное желание!

– У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя.

– Есть «не есть»! – пробует шутить Сергей.

Стоит поезд. Вторая ночь! Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру, так лучше наевшись», – решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись – Бог весть! Вытащил из-за голенища ржавую корявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал:

– Разевай рот!

Полностью засадил Сергей ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок.

– Больше в тебе нет ничего, – успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось… Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то» можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое… Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! «Терпи и береги меня! – приказывает оно. – Мы еще дадим себя почувствовать!..»

– Нет, капитан, во мне осталось все, что было! – со злобой отвечает Сергей.

– Да вот оно, что было в тебе! – указывает на кучку сероватой массы Николаев.

– Ты одурел, мой друг, от голода, – уже спокойней проговорил Сергей, – возьми мою пайку и съешь…

На четвертый день пути пленных выгрузили в Смоленске. Большая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупами, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостно истерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и казалось, не было в городе хоть единственного непострадавшего здания.

На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву «П» гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве «П» решено было приделать букву «Г», отчего виселица преобразилась в перевернутую «Ш». Если на букве «П» можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря. Состояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории: командиры, политсостав, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями – под строгим наблюдением густой своры немцев.

Командиры, политсостав и евреи не допускались до работы. Сидели эти люди на строгом пайке, томились без курева. По вечерам, когда пленные группами возвращались с работ, в самой большой секции, где были красноармейцы, открывался базар. Было там все – начиная с корки хлеба и кончая пуговицей, ножиком, ремнем, обрывком шпагата и ржавым гвоздем. Делалось и добывалось это так: напрягая всю мочь, вскидывает тяжелую кирку пленный, ковыряя мостовую. Так и кажется: вот взмахнет еще разок – да и завалится в грязь, вконец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко.

– Съешь, родимый, помяни грешную душу рабы Божьей Апросиньи…

А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих.

– Штой-то у тебя?

– Ицо.

– Сколько?

– Пайка.

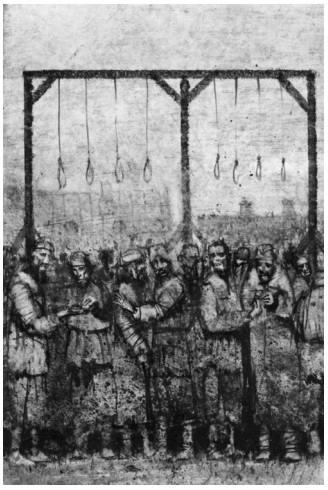
– Дай погляжу… какой-то она таво… желтая.

– От породистой курицы потому…

– А ты што, курицу то…?

– Выходит же счастье вот таким тухтарям!

– И хто ему дал ицо, черти его возьми…



Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей булдыжки. Плюхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги, и бормочет в полузабытьи:

– Кому трусятины? Кому трусятины?

Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнущий мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается «покупателям».

– Да съешь ты сам свою трусятину! Помрешь ить, пока продашь.

– Эй, кому загнать по дешевке?

– Што-о?

– Душа лубезный, купи котелок баланды! Свежий, вкусный, красивый!

– Кому ножик за понкрутку?

– У кого кусок резины есть?..

Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре.

– А знаешь, – предложил Николаев, – не мешало бы сходить на эту черную биржу.

– Пайку перепродать?

– Нет, кальсоны; покурить бы малость…

Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры.

– По направлению виселицы – шагом марш! – скомандовали полицейские.

Туда же шли и другие секции.

– Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстучек, – шепнул Николаев.

Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев.

Кроваво-красным шаром закатывалось в полоску сизой тучи солнце на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом.

– Дай проход! Разойдись в стороны! – послышались голоса.

В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понуро шагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке.

– Военно-полевой суд… – начал переводчик; и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки…

– А много мучки-то взяли? – послышался голос из толпы.

Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения. Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он всхрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки.

Второй, лет под тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и на читавших ему смертный приговор.

Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратно сколоченные козлы.

– Дорогие, век не забуду… не надо! – заколотил себя кулаками в грудь «скворец». – Не буду… с голоду это я… Родимые, ненаглядные мои, – бредил он, упав на колени.

– Подымись, дура бловая! – спокойным басом загорланил его одновисельник. – Разя это люди? Это жа анчихристы! Увстань жа, ну!..

И, неторопливо взяв за плечо коленопреклоненного, он легко поставил его на ноги.

Живчиком бился чернявый в цепких руках немцев. Брыкался и кусался, не давая просунуть голову в петлю веревки. Все так же не торопясь и деловито влез на козлы белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись, грузным мешком повис прежде чернявого, уродливо скривив голову…

…В голубени июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки, разогревают смолу толевых крыш бараков, и сочатся блестящие черные сосульки каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолгу ведутся в темноте разговоры-воспоминания – кто, когда и как ел.

– Ну, встаешь это себе, делаешь, понятно, зарядку, а на кухне уже слышишь: ттччщщщии-и!.. Пара поджаренных яичек, два-три ломтика ветчинки… Да-а! Запивал все это я стаканчиком холодненького молочка… знаете такое? А в обед…

– Это што-о! Я вот, так я кушал так: утром не ел ничего!

– Ну, это уж вы напрасно! Почему же?

– А понимаете, не хотел. Привык!

– Как так можно! Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец в сливочном маслице… румяненький, горяченький… с сахарцом, понимаете?

– Да, конечно, но… рацион, так сказать…

– Ах, что там! Это вы просто… извините, дурак были, что не кушали!..

Это в углу, где спали «старички» по чину и годам. Во втором же:

– Заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш – ббабаххх! А в двенадцать – в столовую. Опять берешь: солянку, пожарские, кисель и пять пива. Шарахнешь – и до семи!..

Это вспоминали свое житье-бытье те, кому не могла жена «поджарить в сливочном маслице». Это были холостяки…

…В самую последнюю очередь получали командиры баланду. Поблескивают в их руках котелочки, баночки из-под консервов, а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски.

– У вас, капитан, губа не дура! Посудинку-то себе вы подыскали вместительную!

– Скажите, товарищ подполковник, вы… если не ошибаюсь?

– Да, я армянин.

– Встречали ли вы там, у себя, более роскошную пиалу, чем вот эта ваша?

– Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?..

Так доходили до кухни. Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлип губ, сосущих баланду.

– Товарищ военинженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?

Молодежь была неутомимей. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, воспоминания.

– Повторяю, внешность не показатель внутреннего достоинства человека, – горячился лейтенант Воронов. – Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пискунов. Фамилия его говорила за все: он был похож на цыпленка-заморыша. Учился плохо. Как-то спрашивает его тактический руководитель: «Вот вы, курсант Пискунов, ведете взвод. Наблюдатель подал знак – „воздух". Ваше решение?» А Пискунов стоял-стоял, да и решил: «Я, – говорит, – подаю команду „спасайся кто как может"!» Ну, понятно, хохот в аудитории, плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. Пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И заметьте: единственный из всего училища тогда!..

Глава седьмая

В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, командиры были выстроены, чтобы получить «дорожные продукты». Путь, видимо, предстоял долгий: была выдана каждому целая буханка хлеба из опилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму.

– В Германию везут. Надо бежать в пути, – пояснил Сергей.

Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять, за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых грузов и братские гробы для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жестью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающие малейшую возможность побега.

– Кажется, все! – покачал головой Николаев.

– Нет. Остановки.

– Не выпустят…

– Тогда… тогда останется последняя возможность – вот! – указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли.

Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас. Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать стало несколько легче. Когда в узкие, словно прорезанные осокой, щели дверей вагона просочилась молочная сыворотка рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третьи. Утро четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов.

А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

– Раус, раус! (Вон, вон!) – вопили немцы.

От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать – шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв. «Каунас», – разобрал Сергей.

По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно пялили лорнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно видеть толпы гуляющих людей и еще непонятней воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая когда им вздумается, что они вдосталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов… Странным казался и этот город с узенькими уличками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков.

Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным уличкам предместья Каунаса. Из приусадебных садиков пахло прелой морковью и увядшими лопухами.

– Яаки! – не закрывая губ, произнес Николаев.

Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледнорозовым гирляндам яблок.

– Да, яблоки…

Каунасский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых «благоустройств», свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные… железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое «боевое оружие». Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

…После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивей липла мысль о «последней возможности».

«Разогнаться и об острый угол барака… самому», – думал Сергей.

На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющей долиной, сплошь усеянной огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там – было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили пятидесятипудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывал на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук.

– А ну, братцы, бежим! – предложил своей тройке Сергей.

– Как?

– Подкатим валун к кустам, а там – врассыпную!..

– Побьют… День, видно…

Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое же трусили.

– Ну, малыш! – чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него. – Держись!.. А вы – как знаете! – бросил он оставшимся у валуна.

К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли, Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты; мнется под животом сухой, звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик – не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю!..

Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса.

«Девяносто восемь человек остались в долине и с ними лишь пять конвоиров! Если б они сыпанули в стороны… Не больше сорока убитых, а остальные и мы…» – думал Сергей, чувствуя приближение смерти.

Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят «порядок». Сто человек должны быть живыми сданы в лагерь – беглецы будут наказаны в комендатуре…

…Прикушенный язык разбух во рту мочалкой: не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта не переставая слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.

– Аакх ыие аукх?

– Не понимаю, – качает головой тот.

Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки. Не скоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос. Написал на стене: «Как тебя зовут?»

– Ванюшкой… Иваном.

– А-а-о. А ыая – Ыйэяв.

– Что вы говорите?

«Хорошо. А меня – Сергеем», – написал Сергей.

– Ойкхяо ы-е эыхк?

– Восемнадцать, – понял Ванюшка.

– А-а-о.

– Да хорошего-то мало!

Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если бы сейчас была вчерашняя возможность – ты бы вновь бежал? Только говори правду!»

– Немедленно! – с неразгаданным до того в нем упрямством ответил Ванюшка.

«Будем друзьями!» – размашисто начертил Сергей.

После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, «сухими», как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря «Г» в неизвестном направлении…

…Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана…

Штрафников было двенадцать человек. Их собрали с разных каунасских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде «найтить хоть одну махорчинку», как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет:

– Завел он всех в лес – а ить нас батальон полный! – и говорит: «Сымай шинели!» Ладно, сняли. Он опять говорит: «Примыкай штыки!» Примкнули. «Неожиданным ударом, – говорит, – отбить Петровскую!» Ну, и пошли мы, значит. К деревне этой по лошшине итить надо было, а ветер – спасу нима, нояберь потому был… Хрицы, знать, спали ишшо, не рассвело как надоть, и не видали нас. Эх, как закричали все «ура» – аш земля загудела – и пошли!.. Винтовка у меня об десяти патрон была, штык ишшо на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да-а. И вот аказия какая! Спят, черти, они в подштанниках! У нас ба, к примеру, за спанье в подштанниках на передовой – трибунал! А им – хоть ба хны!.. Я себе тоже бегу и «ура» кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу: из машины, што стояла под повети хаты, выпрыгнул хворменно одетый, при хвурашке, и то туда, то суда обкружится, а не бегит. Оробел вконец, знать, дурак… Я эта к ему, а он бултых на коленки! И так мне было желательно кольнуть его – ну хоть ты што тут! Кольнул… Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречихой, ишшо потрескивает штой-то внутрях. Ну, и када штычок залез примерно по дулу вот тут, пониже сисек, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой – цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь! Бросил эта я «савате» свою, да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит… Задушил эта я его, взял «савате», как положено, и думаю: дай, думаю, загляну в автанабил, потому интересна. Полез. Гляжу – кулечки, коробочки какие-то… Разорвал одну – баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем питаке. Да-а… Перервал пополам – цыгареты! Э, думаю: стоп!

Ну, понятна, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно што казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. «Горшков, – говорит, – возьми винтовку свою, да на вот мешок, иди соломы набей в его и ко мне явись». Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал хто-нибудь, што я во время бою на цыгаре-ты трахвейные позарился…

Пока солому набивал в мешок – баночки в голянищу попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому на ем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу! «Пойдем», – говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю: обыск ба не сделал в голянище!.. Идем эта мы, и вижу, што не к анбару. Он на огород – и я. Он через тын – и я. Залезли в сад. Што, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. «Привяжи, – говорит, – мешок к сливине». Привязал. «А теперь, – говорит, – примкни штык и покажи мне, как ты хвашиста утром колол». Э-э, думаю, пронес Илья-пророк тучу! Не то! Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком – аш с дулом нырнул. «Вот, – говорит комбат, – так нельзя пырять. Я, – говорит, – видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо, – говорит, – у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе!» И целый час учил меня штыком пырять, пока солома не вывалилась из мешка… Ну, назад когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата – потому не посадил в анбар. Я и говорю: товарищ капитан, погодите. «Што такое?» – говорит. Сапог сниму, говорю, и сел на улице. Скинул эта я сапог, да второпях не тот. Скинул другой – баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» – спрашивает капитан и смеется. Ну я, понятно, сказал, што струхнул,

думал, в анбар, и говорю: возьмите, товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек…

…Часов в двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день, в тяжелых деревянных колодках на ногах, Сергей и Ванюшка шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в восемнадцати километрах.

Глава восьмая

Саласпилсский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли высятся мотки проволоки-путанки «бруно». Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок; выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки…

Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями бродящих по протоптанным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка, к ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть.

– Это, наверное, из барака больных, – вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы «Долины смерти».

– Идите, ребята, в третий барак, вон там! – прошептал он, указывая, куда должны пройти новички.

«Странно, – думал Сергей, – моя жизнь пленного началась в третьем бараке. Оканчивается она тоже в третьем… Но это же невозможно!.. Так умереть страшно…»

В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы – жирные, злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти – двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки…

Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга, два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то, только пленным ведомая, «питательная» трава «березка». Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали… На нарах, в изголовье каждого пленного, покачиваются маленькие примитивные «весы». Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в сто пятьдесят граммов разрезается на сто, двести долек.

Раскладываются потом эти крошки на дощечки и, наколотые на иглу, подносятся ко рту. Смакуется хлеб! Растягивается блаженная минута еды… Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз – полежу, полюбуюсь, – да так и останется лежать навеки. В «Долине смерти» создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять – дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день…

Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза-васильки.

– Мы тоже умрем? – просто спросил он Сергея.

– Нет.

– А как же? Мне уже трудно залезать на нары… а только пятый день тут…

В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову.

– Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем… Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба… Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда…

Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея.

– Нас шестьсот человек, – продолжал тот. – И если мы со всех сторон полезем на проволоку, то… человек сто останется, может быть, в живых…

– Нет. Я думал… Идите.

– Но почему же нет?

– В одну минуту… четыре пулемета выбрасывают… четыре тысячи восемьсот пуль… Восемь пуль на каждого… Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки… Каждый метр – три ступеньки… В минуту – шесть ступенек… значит – пятнадцать минут… Следовательно, сто двадцать пуль… на каждого. Идите…

Как-то вечером, перед тем как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный.

– Мы теперь живем, – зашептал он, – вот, глядите! – И опасливо, чтоб не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. – Ассенизатор мой земляк оказался… возит бочки за лагерь. Каждый день он будет давать нам по столько!..

По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни. Силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезилась смерть…

…Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Сучат в небо черными ветвями мрачные дерева, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятье. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, нижет его иголками прохлада вечеров. Редко выползают из бараков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы!

– Ты хочешь умереть, лежа на нарах? – спросил Сергей Ванюшку.

– Как все, – тихо ответил тот.

– Но можно иначе… Хочешь?

– Да.

– Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас…

– Но лицо у тебя… и борода.

– Все равно ведь!..

На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два.

– Все бараки, за исключением пятого, – строиться! – прокричал полицейский.

Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону.

– Капитан Андреев!

– Я.

– Подполковник Полуянов!

– Умер вчера.

– Старший лейтенант Михайлюк!

– В пятом… умирает.

– Лейтенант Костров!

– Я.

– Воентехник Рябцев!

– Я, – отозвался Ванюшка.

– Умер.

– В пятом.

– Умер.

– Умер…

А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию…

Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да, им было теперь все равно, решительно все! Но – хлеба, ради Бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя, гауптфельдфебель, внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем.

– …и будь в вагоне хоть маленькая дырка, проковырянная гвоздем, – все из вагона будут расстреляны.

Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку…

Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона.

– У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка, – под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке. – Больше в мешке ничего не должно быть!

– Понятно! – ответил тот.

Скрипели, покачивались вагоны, аукал паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.

– Гра-аждане, да што же это вы заду-умали? – послышался вдруг слабый стон. – Нельзя этого делать, расстреляют всех…

В вагоне поднялся испуганный шепот: угрозы, просьбы, одобрения.

– Хоть один останется в живых!

– Давай, давай, товарищ!

Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько. Мотнул головой – и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.

– А-а, дрянь! – короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом:

– Кто помешает – убью!.. Открою дверь – уйдете все… кто хочет и может!

Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням.

– Обмотку дай! – бросил Сергей Ванюшке.

За петлю над окном быстро привязал обмотку. Потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал:

– Одной рукой держись… Открывай вагон…

Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана.

Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.

– Никак! – слышится его голос, срываемый встречным ветром. – Тяжело… упаду сейчас!..

– Отталкивайся ногами! Сильней, ну! – кричит ему Сергей.

Мелькнул серењким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипеньем бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни.

«Погиб или нет?» – думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней. Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея.

– Давай, давай, парень, не задерживай! – слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину.

– Даю, ребята! – кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке.

Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок, мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялится видавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц… Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат:

– Не надо! В окно вылезем!..

Цапнул Сергей второй рукой обмотку, лягнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос…

Глава девятая

Сергей долго лежал не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза – войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук.

«Может быть, это жизнь мертвого?»

Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу – скребанул ею сыпучее, коряВистое.

«В земле я… зарыт!..»

Сидя выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку.

«Да ведь прыгнул из вагона!.. Пленный я!..»

Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее.

«А-а, ботва сахарной свеклы!»

Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия.

Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю.

«Я должен идти… где-то Ванюшка?..»

Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к «Долине смерти». Через двадцать, тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидать темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел-прополз Сергей. Ведь договорились: ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги; Сергей же – ему навстречу.

«Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон… но тогда будут пятна крови на шпалах и песке…»

Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, до рези в глазах вглядывался в запесчаненные спины шпал.

«Где же Иван?!»

Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни.

«Где же Иван?..»

Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно.

«А хороша, должно быть, свинина?.. И брюква тоже…» Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана.

Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея.

– Я… я не слабенький, Сергей… Это я… ну потому что… Ты же знаешь!..

– Ничего! От радости плакать можно… И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник! – в успокоение произнес Сергей.

…Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток.

Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в ста от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина…

Спит усадьба. Лениво жует жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают с сосен сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка: в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их – защищаться до смерти. Вот и нужны голыши… А тут еще усадьба помещика! О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши!..

Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают север-

ную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны.

– Сорвать бы головочку, а? – шепчет Ванюшка.

– Попросим. Не дадут – тогда!..

Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюжка-занавеска.

Тук-тук-тук!

Тихо.

Тук-тук-тук-тук!

– Кас тен? (Кто там? – *лит.)* – доносится голос женщины на непонятном языке.

– Будьте любезны, – стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка, – вы понимаете по-русски?

В комнате завозились, скрипнула половица.

– Кас ира? (Кто это?)

– По-русски, по-русски понимаете?

– Немного.

Дерюжка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки.

– Как… что… вы? – испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями.

– Дайте, пожалуйста, нам хлеба… немного.

– Вы… пленники? Только тише… хозяин там, – указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь.

– Да.

– Как же вам… Я не хозяйка. Работаю у них…

– Как жаль!

– Обождите, – оживилась девушка, – видите там… ну, я не знаю, как по-русски… вон она!..

– Кадка?! – подсказал Сергей.

– Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее… каткю… опрокиньте – и в сторону…

– Есть!

Приоткрыв крышку кадки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок кадку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца.

– Спасибо, милая девушка! Дай Бог тебе советского жениха! – обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей.

Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетаньем торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь.

– Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна – наш проводник. Она должна быть все время справа, – говорил Сергей.

Самое страшное в лесу – встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла.

…Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы! Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд!

Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд илистой реки… Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки… Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом, тинистом болоте.

К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жнивье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку-хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится за ними. Поле вскоре кончилось. Ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «тпрру». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду.

– Останавливаться не надо, – прошептал Сергей. – Это крестьянин пасет лошадей…

Из-за крупа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом.

– Здравствуй, хозяин! – приветствовали его беглецы.

– Аш не супранту русишкай. Мано жмона шек тэк… (Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит. – *лит.)*

Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе.

– А ты, дядя, не полицейский? – серьезно спросил Сергей.

– О, Езус Мария, не, не! – поняв, замотал головой крестьянин. – На эйнаме! – настаивал он.

– Можно пойти, – сказал, подумав, Сергей. – Ведь в доме не знают, что он встретил нас… не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади – ты. В случае чего – вот! – мигнул на карманы с голышами…

Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать; подвешенная на веревке, болталась зыбка, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина.

– Тут, знаешь ли, свои, – буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана.

– Русские товарищи? – улыбнулась женщина.

– Вы нас извините, пожалуйста, – любезно проговорил Сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. Но это же был не он, не Сергей! Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно не бритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины.

«Как же они не боятся меня? – взглянул он на хозяина. – Это же не лицо!..»

– Иезас не понимает по-русски, – кивнула женщина в сторону мужа. – Да вы садитесь, – продолжала она, – тут никто не видит…

В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке…

После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка.

– Тпружиня, тпружиня! – негромко позвал Ванюшка.

Корова ответила доверчивым мычанием.

– Ручная! Подоим немного, – обрадовался Иван.

Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди. Вымя было влажное и горячее: видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать.

– Дай ей хлеба! – предложил Сергей.

Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени.

– Скорей, хлеб конч… – и, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом, жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану…

…Дни конца сентября стояли погожие, солнечные.

Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по двадцать – двадцать пять километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шяуляй. Лежали на пути Паневежис, Даугавпилс, а затем – родная земля.

От Паневежиса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны.

Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги, и переставлять их было невмочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножья вороха соломы и подняли испуганный гвалт! Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.

– Извини, отец… Холодно, зашли вот.

– Невелика беда, служивые! – чисто по-русски ответил дед. – Зашли б в дом: я да бабка… Лесник я.

Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки.

– Без оружия вам не под стать. Берданка – милое дело!.. Вы ить на Двинск держите путь? А там эсэсовцев до черта в лесу… Ловят вашего брата, вон оно как!

Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам: «пожалуйста, дайте покушать», «где живет старшина и полиция?», «спички», «хлеб», «река», «дорога».

…Пообвыклись беглецы в лесной обстановке, от благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелей стучаться в окна, с трудом произнося «прашау, докить вальгить». Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву.

– Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет, – вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба.

– Поздравляю! – пожал ему руку Сергей. – В ноябре мне исполнится двадцать три… К тому времени мы будем у своих!..

– А знаешь, давай устроим праздник!

– Как же?

– Разведаем с опушки леса отдельный домик, «спикирую» я в него, попрошу картошки… Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем… три.

Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз-васильков отказом «устроить праздник».

– Давай, – решил Сергей.

Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в «пике». Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой.

Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку…

Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем…

«Нет, не мог заблудиться Ванюшка!»

Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет. Другой был погружен в темноту.

«Не устроил ли Ванюшка «праздник» в доме?»

Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали «чекалдыкнуть»…

«Неужели он мог?.. Но ведь бывает иногда и такое…»

По-пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка, не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтоб заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль, у печки, резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было.

«Что за черт! – мысленно выругался Сергей. – Кто может жить тут?.. Конечно, полицейские! Ванюшка в их руках!..»

Холодновато и горько стало во рту. Лапнула рука карман – шумнула в нем неполная коробка спичек.

«А если Ванюшка связан и лежит там… в доме?.. Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришпиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипеньем вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли…

Глава десятая

Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг впереди себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направле-

ние: шел, зажмурив глаза и протянув руки вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги то и дело по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальцы рук перестали натыкаться на скользкую холодную твердь сосен; сплошной колючий кустарник загородил путь.

Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочки и поваленные буреломом деревья, продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед вконец ободранные, исколотые ноги… Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, рассолодил дождь торфянистую илистую почву, вот и вязнет до колен беглец, шепча проклятья земле и небу… Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. «Болото!» – мелькнула страшная догадка, и, напрягая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, заливаясь в узкие глубокие воронки от увязающих ног. Крепки засосы трясины, не желающей выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад – топь. Влево – трясина. Вперед – вода и осока. Вправо – все вместе. Куда же?

«Вперед!., в… мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит… ползает она!..»

И пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки.

«Физику не забыл, скотина? Ну так дави равномерно всем телом на эту дрянь! Иначе – провалишься!..»

Сгартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь, скользкая и липкая грязь переливается по телу…

«Вперед!»

Залетают в мучительный оскал рта брызги, гуммиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока.

«Вперед!»

Черна октябрьская ночь. Водянисто прибалтийское небо, разбоен осенний ветер.

«В-пе-ред…»

Реже выбрасываются руки-плавники. Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, клонится она на мягкую подушку трясины…

«В-пе-е…»

Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена. Поправляет его изголовье, звонко смеясь, сестренка, сыплет, вкатывает в его волосы незабудки…

«Не надо, Аня… Мне так хорошо… Милая ты, славная у меня сестренка…»

Стоит на пороге мать, протягивает Сергею шарф, умоляет: «Кашлять будешь, родной. Одень…»

«Я сейчас вернусь, мама… Ты жди!»

Осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль, заставляет дрогнуть затихающее тело: «В болоте ты! Не отдыхай… Это смерть…»

«Ах да!..»

Хлюп.

Через три минуты: хлюп.

Через пять: хлюп…

«Какой мягкий наш диван… Ты не умеешь, Аня, вышивать медвежат на подушках… Выключи радио – шумит оно… Какие белые эти березки!.. Как тебя зовут? Ванюшкой? А-а!.. Почему тяжело, душно?.. Болото? Умираю? Сознание… Считай до десяти… Раз. Два. Три. Четыре… Три…»

Считай, считай!.. Ну, милый, хороший, считай!.. Четыре… Пять… Семь…

Считай, сволочь!.. Восемь… Девять…

Считай!

Счи-та-ай!

Счи-и…

«Смерть? Жи-ить хочу-у… жи-и-ить…»

Хлюп.

Хлюп…

Отдыхающим аллигатором растянулась поваленная сосна. Как невиданный осьминог, разбросал-раскидал свои щупальца вывороченный корень.

Хлюп.

Хлюп…

Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в ил.

«Не засосет… Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине… Значит – берег…»

От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом.

«Можно застыть… Подохну сидя. Надо двигаться… Не важно куда… просто двигаться».

Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая потягивание и зевоту.

«Болото. Нужно влево…»

Болото!

«Некуда. Островок…»

Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая руками изо всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности.

– Аа-ауу-о-о-аауу!..

Выл нудно, тягуче, и когда затихал – становилось самому жутко.

– Уу-у-ааа-ооо-ууу!…

Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уж больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами…

Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. Набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся, и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши стоящего в лесу дома.

«Пойду. Все равно…»

До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шел решительно, стараясь ничего не предполагать.

«Хуже смерти ничего не будет!..»

По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыхнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм.

«Попал!» – решил Сергей.

– Пожалуйста! – свободно и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка советского «Беломорканала» и лежала, видать, только что оставленная после чтения, «Правда».

– Пожалуйста, проходите вперед. Но… минуточку, вы мокрый и… Соня, Соня! Приготовь побыстрей белье и все верхнее… Да садитесь же!

Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел:

– Скажите… откуда это?

– Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши…

– Куда? – почти крикнул Сергей, не дав тому договорить.

– Понятно… в лес.

Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома и, не обращая внимания на рвавший тело сухой кустарник и хлеставшие по лицу ветки сосен, побежал, задыхаясь, вперед, в самую чащу леса.

«Конечно, они там! Куда же они еще?»

Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пятьдесят шагов – и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизнь!..

Молчит, злорадствует лес. Шепчут что-то невыразимо пошлое и нелепое друг дружке сосны.

– Ого-го-го! – закричал Сергей. – Това-аа-ри-щии! Ре-бя-та-аа!..

Молчит лес. Шушукаются, издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук…

…Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озимь полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять – пятнадцать километров, выбирал стоящий на опушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятой им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти.

«Я похож на испанского мавра», – иронизировал над собой беглец.

Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил хлеба на восемь человек:

– Семь моих товарищей за вашим домом… Ждут.

По паневежскому округу разнеслась весть, что неделю тому назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного «пленника» в Паневежис.

«Я достойно отомстил за Ванюшку», – думал Сергей.

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Сергей остался один. Около ста пятидесяти километров прошел он, оставив далеко позади Паневежис. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссейной дороги. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив «плащ» и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура.

– Простите, вы говорите по-русски?

– Немного.

– Я прошу у вас кусок хлеба…

В это время в сени вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе. Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца.

«Эсэсовцы!» – подумал Сергей. Мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными.

– Рэнки наверх! – по-литовски и по-русски крикнул выкатившийся в сени бандит, ткнув дуло винтовки в грудь Сергея.

– Ужейк и троба! (Заходи в дом! *—лит.)*

Сергей протиснулся в дверь и, оставляя следы на полу запеленутыми в тряпки ногами, прошел в угол. Комната была маленькая, но опрятная. Слева от двери стояла кровать, справа – стол и два стула; на полу была разостлана постель, и на ней спали два эсэсовца.

Введшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь.

– Что они со мной хотят делать? – обратился Сергей к хозяину.

– Отправят завтра в волость. В полицию…

– А-а!

Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула.

«Только бы не положили спать в комнате!» – думает он.

Исподлобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена.

– Что у тебя? – спрашивает хозяин.

– Короста… Знаете, такая? Ну, чесотка… И вши. Полтора года в бане не был… Много вшей… ходят поверху. Остаются, где сижу… При огне не видно только…

Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками жена его, слышит Сергей частое: «Езус Мария, Езус Мария!» Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая огарок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам.

– Пойдем спать! – выпрямляется хозяин. – Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции…

Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью.

– Ложись тут!

Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без «плаща». Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая.

– Подождем еще! – шепчет Сергей. – Погреемся пока…

Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой.

– Раз-два… Делай: раз-два! Раз-два! Раз-два!..

С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Покачивает ее, потягивает вверх, узнает: глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно подогнаны бревна – надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону. Оранжевые живчики запрыгали в глазах.

«Да ведь грабли это! Наступил я…»

Переломанные на четыре части, служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт.

– Нажми, товарищ Костров!

– Есть, товарищ лейтенант!

Обламываются, кровавятся ногти. Растет под коленями бугорок рыхлой земли. Растит он силы Сергея.

– Две минуты перерыв.

– Есть!

– Приступай.

– Есть!

И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях; нехотя, шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилиям.

– Еще нажим – и…

– Есть еще нажим!

А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечо. Ступая на носки, подошел к дому. Неслышно составил бревно, подперев им дверь, и, подхватив «плащ», отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома:

– Гады! Русского офицера так не возьмешь!..

Глава одиннадцатая

После оккупации Литвы в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожженных дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят в обмен на какое-нибудь старое ружьишко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулеметы.

– Пригодится, дай срок!..

Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтоб не видел полицейский, вдоволь накормит мужик «пленника», многое порасспрашивает у него.

– Послушай, товарищ. А скоро ли товарищи-то придут?

– А что?

– Да поскорей надо бы…

– Помогайте!

– Дак если б товарищи были поближе… Видней дело и сподручней тогда… Товарищ, а говорят тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему: «Я не Микол ай второй!» Правда аль нет?..

…Чертил Сергей поля и перелески узким, извилистым следом отказавшейся слушаться правой ноги. Раздулась она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глянцевитой сине-

вой опухоли, и ноет нога непрестанно – тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами – и надолго остаются точки-вмятины на ступне.

«Эх, отвалилась бы ты к черту! – желает он, растирая ставшую как полено ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату. – Если бы это!..»

Ночью снял вожжи, вязавшие на лугу лошадь, и замотал ими «плащ» на ноге. В ступу превратилась нога, и лишь с помощью рук удавалось переставлять ее. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой.

«Хорошее дело —‚плащ“», – грустно шутит Сергей.

За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотили сердце, заставляли подолгу сидеть.

«Но где же лес?»

Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнуло пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте.

«Где же?..»

Там, где белел опушенный инеем луг, у самой обочины группы низеньких домиков, серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны, на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь, побрел Сергей к лугу. Шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшуюся ногу. Проснувшиеся лохматки зачуяли беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они и через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть – выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюпкой поскакал мужик куда-то в сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена.

Около двух часов гладил-растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. Было теперь все равно: ни бежать, ни защищаться он не мог… В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею.

– Эй, бальшавикас! Шаутувас ира? (Эй, большевик! Винтовка есть? – *лит.)* – крикнул один из них, остановившись метрах в пятидесяти от копны. Два других сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим движением Сергея.

– Ты бы тогда не мозолил мне глаза, фашистская гнида! – ответил Сергей, знавший, что значит «шаутувас» по-литовски.

– Кас?

Знал Сергей, что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании. Правда, лишались они при этом половины наградных (за убитого пленного фашисты платили пятьдесят марок), но, видимо, инстинкт бандитизма брал верх над чувством наживы…

Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте.

«Хотят живьем взять», – подумал Сергей, продолжая растирать ногу.

– Эйк ченай, китайп – нушаусим! (Иди сюда, иначе – застрелим! – *лит.)* – хором закричали полицейские. Но, видя, что Сергей не двигается с места, решился тогда один из них на акт «героизма». Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею.

– Эх ты, мразь вонючая! – скрипя зубами, шептал Сергей, трясясь от злобы и отвращения, видя чуть держащегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку.

…Вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге «плащ», потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лежа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волостную тюрьму.

Начальник Купишкиской полиции, тучный низкорослый кретин, изо всех сил хотел казаться опытнейшим криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум; короткий, желтой кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умышленной рисовки голосом пел:

– Фами-и-илия?

– Руссиновский.

– И-имя?

– Петр.

– Из какого ла-агеря?

– Не был в лагере.

– Парашюти-и-ист? – удивился полицейский.

– Н-нет.

Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум.

– Парашютист?

– Нет!

Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедро револьвер.

– Давно в Литве?

– Отправьте меня отсюда.

– Последний раз: давно у на-ас?

– У вас? У кого это?

– Аxx!

Брызнули снопом горящие искры из глаз, рванул Сергей связанные руки, и повисли на запястьях бескровные шматки кожи.

– Убью до смерти… Говори-и!

– Говорить буду с немцами… с твоими хозяевами, холуй!..

Аxx!

Аxx!

Аxx!

…Память вернулась к Сергею в деревянном склепе с крошечным зарешеченным окошком. Из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и, собираясь в ямке впалой щеки, застывала, свертываясь. Затекли, устали связанные руки; давняя мучная пыль с пола щекочет нос, бьет тело чиханием.

«Какая же теперь моя фамилия? – силился вспомнить Сергей. – Росса… Русса…» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта.

На второй день в Купишкисе был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку…

От местечка Купишкис до похожего на него Субачюса – сорок километров. Но по тому, как пренебрежительно субачские полицейские относились к купишкиским, понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился с субачской тюрьмой, дверь его одиночной камеры с шумом отворилась и

на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в черном. Сергей поднялся с пола и встал у решетки окна.

– Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве! – приближаясь, начал один в черном. – А? Расскажешь?

– Я шел.

– Куда?

– На мою родину…

– Родину-у? Мы тебе дадим ее… Атришките ям ранкас! (Развяжите ему руки! – *лит.)*

Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам.

– Сук! (Крути! – *лит.)*

Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями об пол. Руки его теперь покоились на спине, у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея навзничь, а вскинутые при падении ноги стали загибаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался воздух. Дыша трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые бессвязные слова полицейский:

– Где ты был, а?.. Сколько вас, скажешь?..

Колени Сергея, с сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, и что-то колючее хватко зажало сердце, легкие, грудь… Покатав пинками бесчувственное тело по полу, полицейские со смехом захлопнули за собой дверь камеры.

На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей, – он не знал. Может быть, потому, что там было немного светлей и вошедшие могли угадать в нем человека?..

И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею.

– Курить хочешь?

– Нет.

– На!

Полицейский протягивал толстую папиросу, Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался.

– На, говорю!..

Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку.

– Пофф!

Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.

Глава двенадцатая

В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилось гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв «СС». Жуткими, не вмещающимися в голове поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих… А за двести метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы.

…Скользя босыми ногами по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея:

– Кальт, менш? (Холодно, человек? – *нем.)*

Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежскую окружную тюрьму.

– Эйнам! (Идем! – *лит.)*

Вновь заскользили ноги – теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни; на оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник, в дубленом тулупе и накинутом поверх брезенте, лениво распахнул железные ворота.

– Эйнам!

Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли.

– Тэйп, тэйп! (Так, так! – *лит.)* – таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях.

– Су гинклу паэме? (С оружием взяли? – *лит.)*

– Не понимаю.

Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила:

– По синим стреляют. Нас тоже. Считают…

И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке: в дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм.

– Пойдем! – обратился тот по-русски к беглецу.

В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

– Фамилия?

– Рус… Руссиновский.

– Лет?

– Двадцать три.

– Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно…

– Мне двадцать три года!

– Брешешь, сволочь! Какой веры?

– Самой глубокой.

– Дурак! Веры какой, понимаешь?

– Я сказал.

– Идиот!

…Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. На стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем громыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо

длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. «33», «35», «37», «39»? «41» — пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой «39». Огромный, похожий на пистолет ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу.

– Осторожно, отец, утонешь! – услышал он веселый голос.

– Вы русские? – обрадовался Сергей.

– Тут, дядя, со всех концов… и не принято расспрашивать – как, когда, откуда… понял?

В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать сто пятьдесят граммов хлеба, в обед и вечером – по пол-литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. И если он вернется оттуда, то дня через три, после переваривания резиновых бананов, пойдет на работу на сахарный завод, что в четырех километрах от Паневежиса.

Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок.

– Не спишь, земляк? – послышался шепот.

– Нет.

– Слушай: поведут на допрос, то… если заведут в подвал такой с водой – не бойся. По грудь только. Ну, само собой, холодная вода и тело режет так… Теперь: налево что дверь – там стреляют… Только мимо головы, на вершок так… Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь… пожилой человек… выдавать там кого – не надо… Сам знаешь…

Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словам: «пожилой человек… сам знаешь».

– Как ты думаешь, сколько мне лет? – спросил он соседа.

– Ну, сколько есть… Тридцать восемь, сорок, может…

– Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три…

– Да ну-у? – удивился сосед и приподнялся на локоть. – Ох и испаскудили ж тебя, парень!..

В шесть часов в коридоре загремел бак с «завтраком». Заключенных выпускали покамерно, и они, получив «довольствие», ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу.

…Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от дверей по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо – длинный узкий стол и в углу – параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия – Руссиновский. Имя Петр.

Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, – сделано, пережито, окончено!.. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.